

ИВАН МЕНЬШИКОВ

СМЕРТНАЯ

переправа

M 51

P 31396



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ИВАН, МЕНЬШКОВ

СМЕРТНАЯ ПЕРЕПРАВА

**Предисловие
Константина Симонова**

**Издательство НК ВЛКСМ
«Молодая гвардия»
1943**

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Константин Симонов. Предисловие</i>	3
Бессмертие	6
Белый коршун	13
Смертная переправа	18
Помни о дружбе	26
Когда прилетят скворцы	31
Последний рейс	37
Жить хочется	45
Сестренка	50
Родимая сторонушка	59
Сын Великого Новгорода	72
Полынь	82

Отв. редактор *С. Андреев*

Подписано к печати 20/IX 1943 г 2³/₄ печ. л. (3,7 уч.-изд. л.) 52.000 экз.
в печ. л. 169276. Тираж 25.000 экз. Заказ 1295. Цена 1 руб.

Ф-ка юнош. книги изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»,
Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 46.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Герой одного из последних рассказов Меньшикова — моряк, чуть не утонувший во время эвакуации Севастополя, — говорит спасшим его товарищам: «Спасибо, ребята. Было бы очень обидно, если бы я утонул. Мне так много еще надо сделать...»

Когда судьба писателя трагически обрывается, нам часто на память приходят слова его героев, и в свете судьбы автора они вдруг приобретают новое, неожиданное, подчас трагическое звучание. Слова моряка, о котором писал Меньшиков, с полным правом можно отнести к нему самому. Смерть застигла его на фронте в тот момент, когда он был полон больших сил, надежд и замыслов. За свою жизнь Иван Меньшиков выпустил несколько хороших книг, но его умение страстно работать, его настоящее подвижническое отношение к труду писателя, наконец, вся его личность, характер, человеческие повадки

Говорили о том, что ему, несомненно, предстоит еще сделать очень много.

Я знал Меньшикова больше десяти лет. Мы вместе начинали писать и вместе с первыми своими вещами приходили в литературную консультацию Гослитиздата. Уже тогда, будучи совсем молодым парнем, Меньшиков выделялся своей серьезностью, хорошей привычкой много и тщательно думать над каждым произносимым словом, твердым жизненным правилом писать только о том, что он хорошо и глубоко знал.

Однажды он пришел ко мне и сказал, что ему непременно хочется писать об Арктике.

— Ну что же, съезди в командировку, — сказал я ему.

— Я, собственно, и пришел проститься.

— Очевидно, до осени? (Разговор был весной.)

— Нет, — улыбнулся он, — на два года.

— Уезжаешь на два года?

— Да, подписал договор. Буду там два года работать. Все же новое, тут тремя месяцами не отделаешься. Столько узнать нужно! Я боюсь, что еще и двух лет-то нехватит.

Слова у него никогда не расходились с делом, и через два дня он уехал. Меньшиков поехал на Север не смотреть — он поехал жить и работать, принципиально считая, что людей по-настоящему можно узнать только тогда, когда работаешь с ними, а не тогда, когда смотришь на них. Результаты этой поездки известны. В трех книгах, написанных Меньшиковым о Севере, есть ряд отличных рассказов, в которых чувствуется не только знание предмета, но и — что главное —

большое, истинное понимание психологии людей, живущих в тяжелой обстановке Крайнего севера.

В дни отечественной войны Меньшиков работал увлеченно и самоотверженно. Он написал большое количество рассказов, многие из которых собраны в этой посмертной книге. Чувствуется, что у человека, который их писал, было хорошее, доброе, мужественное сердце, и теплотой этого сердца согреты все люди, о которых он повествует.

Выполняя боевое задание «Комсомольской правды», Иван Меньшиков погиб в тылу у немцев. Пусть эта посмертная книга будет венком на могиле талантливого молодого писателя и верного друга.

Константин Симонов

БЕССМЕРТНЫЕ

Этого маленького города больше не существует. Только плачет в ночи одичавший котенок, да протянула к небу опаленные руки яблоня, посаженная десятилетней девочкой.

И когда в эти развалины вновь войдут наши люди, закончив трудную работу войны, я хочу, чтоб посреди будущего города, в сердце самого красивого парка, они поставили памятник.

Пусть из белого каррарского мрамора скульптор высечет стремительную фигуру девушки с гранатой в тонкой руке.

Вот и все. Проходя мимо памятника, старики обнажат головы, а юноши и девушки посмотрят друг другу в глаза, и лица их станут серьезными.

— Аня Леонова, — еле слышно произнесут их губы.

* * *

В ту ночь городок покидали последние беженцы, Аня тоже могла бы уйти. Ведь ее никто

не удерживал. Но, прислушиваясь к завыванию фугасных бомб, вглядываясь в пожары на горизонте, Аня чувствовала, что ей не покинуть города. Огни прожекторов качались в небе, сплетаясь и вновь отдаляясь. И небо, сожженное небо, походило на глубь океана, в котором плавали медузами огоньки взрывов.

Едкий запах тротила наполнял обманчивую тишину, и там, на востоке, где плакали дети, шли обозы, тарахтели орудия, поглощенные мглой, качалась алой ракетой одинокая звезда.

— Что же? — прошептала девушка. — Что же теперь?

И, покинув бомбоубежище, она побежала по искромсанному тротуарам, сама не понимая, куда и зачем.

Невзорвавшаяся мина напугала ее. Она отшатнулась и перепрыгнула выкорчеванную взрывом тумбу. Впереди лежала улица, изъеденная снарядами, влево тянулся сад.

Девушка свернула влево. Удивительное спокойствие вернулось к ней, когда босые ноги ее ожгла крапива, затерявшаяся меж рядов смородины и крыжовника.

— Крапива! — почему-то обрадовалась она. — Жалится, проклятая!

И оттого, что здесь она встретила крапиву, и смородину, и яблони, которые сажала когда-то, девушка рассмеялась.

Она легкой походкой прошла меж рядов смородины и присела на корточки. Бережно притронулась кончиками пальцев к гроздьям смородины и ощутила холодок, идущий от земли.

— Что же теперь? Что?

И, торопливо срывая ягоды, девушка стала

есть. Теперь она слышала шум листвы, стрекот кузнечиков и дыхание земли. Она радовалась тому, что замечает все это.

— Как же быть-то? — шептала она.

Можно было теперь лечь на траву, под яблоню, и думать о своей судьбе. На весь город она осталась одна.

Стоит тишина. Скоро будет рассвет, и пока сюда не ворвались танки с крестами на оружейных башнях, можно еще раз пройти по родному городу.

Город был пуст...

Фугасная бомба разрушила домик с палисадником. От домика осталась одна стена. Девушка подошла поближе и прислушалась. Она пошарила по стене рукой и вздрогнула. На стене висели часы. Их не разбило взрывной волной. Они пробили пять раз. Ладонью она нащупала градусник, висящий рядом, и близоруко всмотрелась в него.

— Двенадцать градусов, — сказала она.

Это было забавно. В развалинах дома время шло попрежнему. Градусник Реомюра показывал двенадцать градусов.

Город был пуст.

Страшные улицы, милые улицы. Вот в этой тихонькой — имени партизана Железняк — прошло ее детство.

По шатким ступеням вошла она в маленький домик.

Вот и диван, на котором она спала. Вот стол, за которым обедала.

Девушка бережно прикрыла дверь, обошла двор и через широко раскрытые ворота вышла на улицу Индустрии.

Здесь, у проходной завода, она встречалась с

Васей Щитковым. Совсем недавно они поклялись не разлучаться до гроба.

Где теперь ты, Вася Щитков?

Может, лежишь ты в степях Западной Украины под старым курганом, и шумит ковыль над тобой, и не нужна тебе теперь никакая Анка. Тебе все равно. Но ведь ты не верил в смерть.

А может, там, далеко, ходит в ночные атаки твоя танковая часть?

Только одно правда: если ты будешь жить, ты никогда не забудешь девушку с улицы имени партизана Железняка.

Задумчивая, чуть грустная улыбка пробегает по губам девушки.

Много улиц в маленьком городке, кривых, тихих, заполненных садами. Дозревают персики, и бархатистая оранжевая кожица их густо пропитана солнцем.

Девушка срывает три персика. Прислушивается. Пальцы ее застывают с персиками у губ.

Со стороны Вокзальной улицы слышен крик.

Он еле различим, этот задыхающийся крик:

— Товарищи!

Девушка бежит в переулок, осторожно выглядывает из-за угла. Лицо ее каменеет. Она закрывает глаза и чувствует, как бьется ее сердце.

Посреди улицы по булыжнику ползет красноармеец, волоча за собой мертвеющие ноги.

Лицо его серо и безжизненно. Он приподнимается на локтях и, закрыв глаза, выдыхает:

— Сюда, товарищи!..

И голова его никнет на камни.

Девушка опускается на колени перед бойцом и бережно поднимает его голову.

— Что, товарищ?

Проходит одна, две, три минуты, прежде чем боец поднимает веки.

— Ты кто? — с трудом выдыхает он. Взгляд его туманен и далек. — Ты наша?

— Ну конечно, — старается улыбнуться Аня. — Я не успела уехать.

Веки бойца дрожат и медленно опускаются.

— Подожди, — слабеющими губами шепчет он, — я сейчас...

И теряет сознание.

Девушка голубой косынкой обтирает его лицо.

— Они должны были вернуться, — точно в бреду шепчет боец. — Мы не имели права покинуть свой пост, пока они всё не вывезут. Но мост был взорван, и нашу охрану обстреляли. Они так и не вывезли всё. Остался один я. Теперь там немцы.

Раненый вновь поднимается на локтях. Из его груди вырывается какой-то горячечный крик.

— Бензин! — кричит он. — Бензин!

Девушка поддерживает его голову.

— Слышишь, как гудят их самолеты? — тихо спрашивает он.

Но это кажется только. Прозрачна утренняя тишина. В городе двое, и один из них умирает.

— Так что же с бензином? — спрашивает девушка. — Что с бензином? — кричит она, с надеждой всматриваясь в лицо раненого. — Ну?

— Возьми гранаты. Умеешь?

Она кивает головой.

— Взорви всё, товарищ! Там... у станции... бензосклад...

Руки бойца слабеют. Он падает щекой на камни, и вспотевшее лицо его принимает цвет мостовой.

— Я не смогу бросить тебя, — говорит девушка. — Как же я брошу тебя? Ты умираешь. Тебя надо перевязать.

Боец молчит.

— Я никуда не пойду, — кричит, задыхаясь, девушка, — я не могу бросить тебя!

Боец делает последнее усилие. Он открывает глаза и долгим-долгим взглядом смотрит на девушку. Он находит в себе силы даже улыбнуться ей.

— Ты думаешь, я помру? — улыбается он своими серыми глазами. — Нет!

— Я не могу оставить тебя. Мне жалко тебя, — шепчет девушка, и слезы застилают ей глаза. — Как же я могу оставить тебя?

Боец хмурится.

— Можешь, — отчужденно говорит он. — Надо. Иди!

И, проводив ее взглядом, он вынимает левой рукой пистолет и, не торопясь, спускает его с предохранителя.

— Теперь она уже далеко, — шепчет он и, закусив дуло, нажимает гашетку.::

* * *

Она слышала выстрел и поняла, что теперь уже незачем идти обратно. Пять высоких колонн зеленело за насыпью. Они были замаскированы. Высокие ели были нарисованы на колоннах с бензином.

Немецкие часовые охраняли их.

Аня поняла, как тяжело ей выполнить последнее напутствие погибшего товарища.

Она не сможет подойти близко. Ее пристрелят.

Железнодорожная насыпь пахнет мазутом и пылью.

Поднимается солнце в багровом ореоле. В желтом небе кружат «Мессершмитты» и «Хейнкели».

Она обманет часовых, она сделает свое дело. Только бы перелезть через канаву.

Девушка выходит на насыпь. Часовой поднимает винтовку и стоит, прислонясь спиной к колонне.

— Эй! — кричит девушка улыбаясь. — Эй!

— Стой! — кричит по-немецки часовой. — Буду стрелять!

Он с недоумением всматривается в веснушчатую маленькую русскую девушку.

Девушка смеется. Простая и веселая улыбка, Часовой ухмыляется.

— Альфред! — кричит он:

Его товарищи отходят от соседних колонн. Они, осклабясь, смотрят на русскую девушку.

— Очень хорошая девушка, — говорит один из немцев и прицеливается из пистолета в грудь девушки.

«Я же не умру», почему-то вспомнила она.

И крикнула изо всех сил:

— Вам нужен бензин? Получайте!

Девушка бросила гранату, за ней другую.

Взрыва она не услышала. Только небо полыхнуло синим пламенем, только запах войны заполнил все ее существо.

* * *

Я хочу, чтобы время вовеки не стерло бессмертное имя этой маленькой веснушчатой девушки.

БЕЛЫЙ КОРШУН

Белый коршун кружился над ним. Он рождался в утренних звездах маленькой пушинкой на горизонте, и моряк ощущал на своих губах горький вкус глауберовой соли и прохладу морского ветра. Человек лежал на плоту из трех бревен, и это было последней его связью с землей и с кораблем. Он еще мог понимать это, когда звезды зелены в предрассветном тумане и когда жажда не пепелит растрескавшихся губ.

Но потом рождался коршун. Он поднимался все выше и выше к зениту и концентрическими кругами опускался над морем. И крылья его, ослепительные, как у «Юнкерса» в свете прожектора, того «Юнкерса», который потопил их госпитальное судно, вырастали и застили звезды.

Белый коршун кружился все ниже и ниже, и был слышен свист его крыльев, точно легкий бриз запутался в снастях парусника, и можно было различить его сизый и лаковый клюв, загнутый, как у кондора.

Моряк закрывал глаза и сжимал кулаки. Воспоминания вновь возвращались к нему.

...Этого можно было ожидать. Немцы сосредоточили вокруг города много дивизий, и никто бы не поверил в то, что так долго можно удержаться. Корабли спешно уходили на восток.

И госпитальное судно вышло в числе первых, и легко раненные лежали в трюме, а тяжело раненные были наверху. Многие бредили и не хотели жить, и тогда санитарки успокаивали их тихо и настойчиво. Имя покинутого города не сходило с их уст.

Он тоже любил этот город, и ему тоже

тяжело было покидать его. Но тогда не было времени об этом думать. Немецкие самолеты стаяй коршунов кружились над ними и строчили из пулеметов по палубе, и санитарки взвизгивали от страха, хотя уже давно привыкли к войне. И все шло нормально, и зенитчикам пришлось здорово поработать, и они сбили три самолета из одиннадцати. Если бы не этот проклятый «Юнкерс»...

Моряк открыл глаза, и крылья коршуна ослепили его. Коршун кружился в полуденном небе, и его когти, готовые для удара, были судорожно сжаты, и повыше их топорщились перья. Раненый облизал губы и попросил пить. Поэтому он подумал, что теперь все равно, и опустил веки.

Он многое еще не успел сделать. И он думал до войны, что немцы тоже люди; теперь он узнал, кто они.

— Какие они сволочи! — сказала девушка-санитарка, показывая глазами на старика-еврея, которому немцы отрубили уши и высекли один глаз ударом хлыста.

Старик лежал на крайней койке, у самого борта, и семилетняя девочка подолгу сидела у его изголовья. Наверное, думала, что это ее дедушка. И старик плакал одним глазом и понимал, что для ребенка очень важно иметь своего дедушку, и он просил санитарку найти где-нибудь конфету, и санитарка долго не могла найти ее, растерялась, и тогда старик попросил об этом капитана. Тот принес плитку шоколада и печенье, и голодный ребенок сначала съел печенье, а потом шоколад. И в эти минуты все больные

забыли о войне и улыбались ребенку, точно счастье старика было их счастьем...

На мягких волнах качается плот, и левая рука человека ощущает упругость морской воды, но руку не поднимешь. Белый коршун давит ослепительным светом распростертое тело матроса.

...А потом налетел этот «Юнкерс». Летчик видел, что это госпитальное судно, но летчик не был человеком. Это был немец. И он сделал три захода и стал расстреливать из пулемета тяжело раненных, и старик прижал к груди ребенка. Санитарка в желтой майке, с прозрачными голубыми глазами, упала меж коек и уже не смогла подняться. Ей перебило позвоночник, и она шевелила посиневшими губами, но нельзя было понять, что она говорит, и он отнес ее к врачу. Но в этот момент налетело еще трое стервятников, и один из них спикировал, и от взрыва авиабомбы рухнули переборки, и пароход начал медленно тонуть.

Тот, кто вырос на море, над чьей колыбелью склонялись и дед, и отец, и старшие братья, видевшие все порты мира, тот любит море неувядаемой любовью. Только горький привкус морской воды, только ветер — то палящий, как в море, что лежит между Аравией и Египтом, то леденящий, как в море Баренца, — пропитал кровь навсегда, и нигде не скроешься от этой мнящей тоски по дальним рейсам со всеми их опасностями и тяготами. И человек, может быть, и не выжил бы даже суток, будь он на суше, но кругом было море, суровое и милое, беспощадное и милостивое.

Ветра не было, и высоко в небе кружился

белый коршун безумия и забытья, застилая своими крыльями Млечный путь. Человек застонал и потянул ногу. Плот качнулся, и левая рука погрузилась в воду.

— Пить... — попросил моряк.

И вновь тишина. От такой тишины люди седеют за ночь.

...Он не успел отомстить за все. Он должен жить во что бы то ни стало, чтобы отомстить и за эту девушку-санитарку, которой прострелили позвоночник, и за старика, и за девочку, которой капитан дал шоколадку. Старик никогда не забудется ему. Когда моряк очутился в воде, он видел старика, державшего в руках ребенка. Уцепившись за спасательный круг, старик держал правой рукой ребенка и шептал ему что-то ласковое и успокаивающее. И ребенок обезумевшими глазами глядел на тонущих людей и плакал, и лицо его было искажено непередаваемым ужасом. И старик не знал, что делать, и легко раненные пытались ему помочь, но немецкий летчик стал расстреливать их из пулемета, и старик выпустил спасательный круг. Захлебнувшись водой, он все-таки не выпускал ребенка, и тот держался за спасательный круг до тех пор, пока старик не захлебнулся в последний раз и не утонул. С третьего захода летчик расстреливал и ребенка, и тот, легко подхваченный водой, был вынесен в горящую нефть.

Он может вытерпеть еще одну ночь и еще одну, только бы вновь встретиться с врагом и отомстить за все: и за раненых, и за девушку, и за этого старика-еврея с ребенком на руках.

Ночная синева прохладна и чиста, и человек на плоту открывает глаза. Белый коршун безу-

мия исчез, слившись с звездой мореплавателей — Полярной звездой. Тупая, ноющая боль в ногах. Вновь возвратилось к нему ощущение жажды. Он понял, что теперь наступает самое страшное: надо забыть о жажде. Это ему удавалось вначале, но теперь становилось все труднее и труднее. Если он протянет до утра, то его может прибить к берегу.

Но звезды покрываются дымкой, и ветер возникает из глубины пространств. Он пресен, этот ветер, но проходит вечность, прежде чем скупые капли дождя падают на, воспаленные губы человека. Он жадно слизывает их. Дождь проходит так же быстро, как и пришел.

...Если он выживет, он попросится в морскую пехоту, чтобы с глазу на глаз встретиться с ними и быть беспощадным к ним, так, чтобы все содрогнулись от его ярости. Он будет стараться прожить как можно больше, чтобы больше их уничтожить. За глаза ребенка, что с такой мольбой смотрели на него. За товарищей, покрывших своими телами землю вокруг Одессы, Керчи, Севастополя. За девушек, повешенных в Феодосии на проволоке, проткнутой в горло, — за все он отомстит.

Человек, качаясь, плывет на плоту, и в его теле тлеют последние желания. Большим усилием воли он облизывает черные, запекшиеся губы, но в глазах его, серых и глубоких, одно неумирающее желание: жить... Вновь в утренних звездах рождается белый коршун. Он растет стремительно, как в кинокартине, но человек поглощен только одной мыслью: он хочет жить.

— Жить... — просят его губы.

И когда катер подбирает его у берега,

морьяка беспокоит только этот призрак, что кружится над ним, — белый призрак смерти.

Краснофлотцы бережно переносят его в рубку.

— Крепок, братишка... — говорят они почти-тельно. — С какого корабля, товарищ?

Вперив взгляд в голубой потолок каюты, он закрывает глаза и тихо говорит:

— Коршун проклятый кружится...

Моряки понимающе переглядываются.

— Не выдержал, — говорит один из них.

— Я теперь все выдержу... — тихо говорит раненый, и в голосе его звучит такая убежденность, что в каюте на мгновение становится тихо. — Дайте мне попить, — добавляет он уже спокойным и деловым голосом.

Вздохнув, он обводит каюту спокойным, счастливым взглядом:

— Спасибо, ребята. Было бы очень обидно, если бы я утонул. Мне так много еще надо сделать, что даже слов не найдется столько.

И с жадностью хватает стакан прохладной и прозрачной воды.

СМЕРТНАЯ ПЕРЕПРАВА

Сержант посмотрел на правый берег, потом на часы, обтер лицо полой шинели и сказал хрипло:

— Главное — вытерпеть. Главное — дождаться наших.

Тарас отполз от своего пулемета и ощутил за своей спиной мертвых своих товарищей, и мутные воды Кубани, и шелест ветра в плавнях.

Товарищи лежали на мокрой земле, и лица их всё еще были искажены яростью боя. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, точно боялись озябнуть от холода земли, заполняющего их тела.

— Давай их похороним, — сказал Тарас и дрожащими руками вытащил из бескозырки смятую цыгарку. — Ты хочешь курить?

Сержант вытащил коробочку с махоркой и кивнул головой. Они закурили, не сводя взгляда с правого берега. Обрушив на Тараса и его товарищей сотни снарядов и мин, немцы теперь были уверены, что переправа на этот раз не совется.

— Восемь раз за сутки, — сказал сержант, — это не всякий выдержит.

— Но мы-то выдержали, — сказал Тарас.

— Нам-то уж нечего выбирать. Мы знаем, чего они хотят. Все знаем. Только бы наши подошли во-время, а мы выстоим.

И сержант посмотрел на часы. Они показывали только половину одиннадцатого.

— Еще полтора часа, — сказал он устало, взял саперную лопатку и ушел в плавни.

Тарас свернул вторую цыгарку, жадно затянулся густым дымом и на кусочке фанерки стал записывать химическим карандашом имена убитых. «Ваня Макаров, — писал он, — лейтенант Стрельченко, гвардии старшина первой статьи Александр Остапчук», — и глаза его застили слезы, и он матерился, чтобы справиться с собой.

Едва он успел закончить надпись, как вернулся сержант. На лопатке остались следы ила, и сержант, перехватив взгляд Тараса, виновато сказал:

моряка беспокоит только этот призрак, что кружится над ним, — белый призрак смерти.

Краснофлотцы бережно переносят его в рубку.

— Крепок, братишка... — говорят они почти-тельно. — С какого корабля, товарищ?

Вперив взгляд в голубой потолок каюты, он закрывает глаза и тихо говорит:

— Коршун проклятый кружится...

Моряки понимающе переглядываются.

— Не выдержал, — говорит один из них.

— Я теперь все выдержу... — тихо говорит раненый, и в голосе его звучит такая убежденность, что в каюте на мгновение становится тихо. — Дайте мне попить, — добавляет он уже спокойным и деловым голосом.

Вздохнув, он обводит каюту спокойным, счастливым взглядом:

— Спасибо, ребята. Было бы очень обидно, если бы я утонул. Мне так много еще надо сделать, что даже слов не найдется столько.

И с жадностью хватает стакан прохладной и прозрачной воды.

СМЕРТНАЯ ПЕРЕПРАВА

Сержант посмотрел на правый берег, потом на часы, обтер лицо полой шинели и сказал хрипло:

— Главное — вытерпеть. Главное — дождаться наших.

Тарас отполз от своего пулемета и ощутил за своей спиной мертвых своих товарищей, и мутные воды Кубани, и шелест ветра в плавнях.

Товарищи лежали на мокрой земле, и лица их всё еще были искажены яростью боя. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, точно боялись озябнуть от холода земли, заполняющего их тела.

— Давай их похороним, — сказал Тарас и дрожащими руками вытащил из бескозырки смятую цыгарку. — Ты хочешь курить?

Сержант вытащил коробочку с махоркой и кивнул головой. Они закурили, не сводя взгляда с правого берега. Обрушив на Тараса и его товарищей сотни снарядов и мин, немцы теперь были уверены, что переправа на этот раз не сорвется.

— Восемь раз за сутки, — сказал сержант, — это не всякий выдержит.

— Но мы-то выдержали, — сказал Тарас.

— Нам-то уж нечего выбирать. Мы знаем, чего они хотят. Все знаем. Только бы наши подошли во-время, а мы выстоим.

И сержант посмотрел на часы. Они показывали только половину одиннадцатого.

— Еще полтора часа, — сказал он устало, взял саперную лопатку и ушел в плавни.

Тарас свернул вторую цыгарку, жадно затянулся густым дымом и на кусочке фанерки стал записывать химическим карандашом имена убитых. «Ваня Макаров, — писал он, — лейтенант Стрельченко, гвардии старшина первой статьи Александр Остапчук», — и глаза его застили слезы, и он матерился, чтобы справиться с собой.

Едва он успел закончить надпись, как вернулся сержант. На лопатке остались следы ила, и сержант, перехватив взгляд Тараса, виновато сказал:

— Им не будет обидно, если похоронить в плавнях? Вы ведь все-таки моряки. У вас по-своему это.

— Не все ли равно! — сказал Тарас, передал фанерку и подошел к убитым.

Не торопясь, он каждого поцеловал в лоб, каждому сказал свое слово, простился.

И оттого, что он разговаривал с мертвыми, как с живыми, сержанту стало тяжело. Он закусил губы, отвернулся и торопливо свернул цыгарку.

У трупа Остапчука Тарас опустился на колени и прошептал:

— Прощай, дорогой...

И они похоронили товарищей в вязкой и широкой могиле.

Впервые за эти сутки над рекой стояла тишина. Она давила барабанные перепонки. Тарас подошел к своему пулемету и заложил в него ленту. Он смутно видел понтоны, наводимые немцами.

— Отставить! — сказал сержант. — Пока мы живы, приказ есть приказ.

— Я и не думаю стрелять, — сказал Тарас, — я только прицеливаюсь. Если меня убьют, похорони рядом с ними, — попросил он, — и фамилию припиши: Тарас Опанасенко.

И, чтобы сержанту не забылся его наказ, он передал ему огрызок химического карандаша.

— Не забуду, — сказал сержант. — Только ты об этом не думай. Сейчас некогда об этом думать.

— Я привык думать всегда, — сказал Тарас. — И почище дела бывали. Вон Остапчук знает...

И Тарас кивнул в сторону могилы.

Они помолчали, пока немцы не надули первый понтон и не спустили его на воду. И, точно ободренные этим, еще резче закричали офицеры, и тишина рухнула с двух сторон: справа и слева.

— Снова перешли в атаку, — сказал Тарас. — Звериные люди.

— Пусть! — сказал сержант. — Они думают, что с нами покончено.

— Ну, с нами тоже не легко покончить, — медлительно ответил Тарас и опустил ся в окоп. Украдкой он закурил цыгарку, чтобы сдержать свое яростное существование. — Ты мне скажешь, когда время придет.

Сержант не ответил. Нарастающее дыхание боя сотрясало небо и справа и слева. В воздухе появились самолеты, и земля вздрогнула от артиллерийской музыки. Через минуту справа показались остатки разбитой переправы и на ней немецкие трупы. Плыли раненые. Они медленно тонули, равнодушно цепляясь за жизнь. Их прибывало к плавням и вновь уносило дальше, вниз по течению.

— Может быть, пора? — спросил Тарас.

— Три понтона, — сказал сержант. — Посиди еще.

Но Тарас уже успокоился. Он вылез из окопа и посмотрел на переправу. Немцы надували четвертый и пятый понтоны. Позади их в степи тархтели тракторы. В наглом свете электрических фонарей было видно, как тракторы и трехтонки разгружались. Быстро вытащив понтоны к центру реки, немцы укрепили их на якорях и стали укладывать настил.

Сержант посмотрел на часы.

— Тридцать минут мы продержимся и вдвоем, а там подойдут наши.

Тарас подполз к нему, не отводя взгляда от реки.

— Ты кого-то утешаешь, — сказал он сердито и упрямо. — Я никак не пойму, кого ты ободряешь.

— Я никого не ободряю, — сказал сержант. — Я просто говорю, что больше отступать не намерен. Дальше уже некуда отступать.

— Так и я говорю, — сказал Тарас, — и ты меня лучше не ободряй. Я видел виды похлеще тебя. Понял?

— Я же не знал, — мягко ответил сержант: — я ведь только неделю как в вашей части.

— В этом все и дело, — миролюбиво сказал Тарас и вернулся к своему пулемету. — Может, пора, дорогой?..

Было еще рано. Немцы начерно навели только половину переправы. Четверть переправы была уже вполне готова: по ней могли уже идти легкие танки и автомашины, но в эти минуты синие лезвия прожекторов полоснули небо, и зенитная артиллерия, захлебываясь от ярости, ощерилась. Летчик сделал шике, и пунктир трассирующих пуль прошел темноту. Потом с угрюмым воем ахнула бомба, и переправа качнулась от взрывной волны, и два грузовика взлетели на воздух, а третий загорелся.

— Молодец! — сказал сержант. — Отчаянный!..

— Может, начнем, дорогой, — сказал Тарас, и голос его внезапно сник.

Он прислушался, а спустя секунду пополз к камышам:

— Идем за мной..:

Они проползли до песчаной косы, вдавшейся в реку. В свете луны, прожекторов, разрывов снарядов, ракет они увидели человека. Он полз по песку и звал своего командира:

— Отделенный... товарищ отделенный...

Тарас подождал, когда он доползет до камышей, а потом сказал властно:

— Быстро к пулемету. Понял?

— Есть к пулемету, товарищ отделенный, — сказал раненый, вновь возвращаясь к пониманию жизни.

Тарас перевязал ему раненую ногу, налил из фляжки спирту.

— Выпей за Остапчука, моего корыша.

Щеки бойца передернула судорога: его, видать, здорово контузило, и он приходил в себя.

— За Остапчука, — сказал он трудным голосом и выпил, не морщась, по-моряцки. — Мне стало легче с вами.

Он пожевал сухарь и выругался.

— Я уже был почти на том берегу, когда саданули по нас, и я потерял сознание.

— А наши? — спросил сержант.

— А куда же отступать? — ответил раненый. — Они же из морской пехоты.

— Слышал? — торжествующе сказал Тарас и крепко пожал руку раненому, точно тот похвалил его.

— Чортова переправа! — пробормотал раненый.

Глаза его заслезились от напряжения, когда он посмотрел на реку. Под пулеметным обстрелом сверху, под разрывами снарядов немцы наводили понтоны. Убитые падали в воду. Пере-

права рушилась от взрыва авиабомб по бокам ее, но немцы упрямо шли к своей цели.

До берега оставалось совсем немного — не более ста метров, и Тарас выкатил второй пулемет. Сержант помог ему подтащить патроны, а потом обернулся к раненому:

— Давайте простимся, ребята.

И они обнялись.

— В темноте не видно, какой ты на лицо, а душой мне понравился, — сказал Тарас и вернулся к своему пулемету.

Немцы подводили к берегу последний понтон, когда Тарас заложил ленту.

— Можно, товарищ сержант? — спросил он и увидел в прицельной рамке щупленького офицера и четырех гитлеровцев.

Чуть вправо уже стояло отделение автоматчиков, и в ожидании приказа на всей переправе стояла, наверное, целая рота мотоциклистов.

— А я садану по тому краю, — посоветовался раненый, — чтобы им в пекло к батьке легче было лезть.

— Ну что ж, — согласился сержант, — можно.

Частый огонь пулемета обрушился на правый берег, и заржали немецкие кони, и автоматчики попадали на настил, но миномет сержанта накрывал их, и раненые сползали в воду, и те, что были ближе к левому берегу, тоже кинулись в воду, но Тарас, точно припаянный к пулемету, прошил их длинной очередью, и они поплыли вниз, относимые быстрым течением.

— Дай по берегу, — попросил сержант раненого. — Дай по тому берегу!

И раненый перенес огонь на тот берег. Под крики офицеров немцы заполняли переправу, и

те, которые оставались живыми, бежали дальше, перепрыгивая через товарищей, по их телам, конвульсирующим или недвижимым. Перед левым берегом они мгновение медлили, не решаясь кинуться с оружием в воду, и это помогало Тарасу ссекать их густой очередью.

Голова Тараса кружилась от напряжения и ярости. Какая-то странная лихорадка трясла его, но, закладывая ленту за лентой, он успевал крикнуть раненому:

— Держись, дорогой!

И тот кратко отвечал:

— Держусь, братишка!

И каждый из них в эти мгновения чувствовал кубанскую степь за собой, и станицы, полные прифронтовой тревоги, и Кавказ...

Но немцы шли и шли. Как в каком-то экстазе, в отчаянном марше, они шли по этой смертной переправе и падали в воду с глухим криком и тонули то быстро, то медленно. Они обрушили на плавни весь огонь своих пулеметов, минометов, артиллерии.

— Теперь отходим, — сказал сержант, — оттаскивайте пулеметы.

Но раненый сказал:

— Я не пойду никуда.

И Тарас тоже выругался:

— К чорту!

— Надо переменить огневую позицию, — сказал сержант. — Я знаю, что отступать поздно, но надо обмануть их.

Они перетаскивали пулеметы и миномет на новое место.

Сержант лег за пулемет, заправил ленту,

смахнул пот со лба и прижался к земле. Снаряд тяжело ухнул вправо от него.

Солдаты вновь заполнили всю переправу, и по тишине миномета и пулемета товарищей сержант понял, что он остался один.

— Терять уже нечего, — сказал он и со всей яростью прикинул к пулемету.

Вокруг него рвались мины, взлетали в небо песок и тина с клочьями камыша, но, озверев от бешенства, он видел только одно — эту смертную переправу и солдат, бегущих ему навстречу и падающих в воду под его непреклонные пули.

И только когда над переправой взвились фонтаны воды и она рухнула от взрыва авиабомб, щедро свалившихся с неба, полного звезд, и к берегу подошло подкрепление, сержант прополз вправо и увидел на краю окопа умирающего Тараса.

Взгляд Тараса был устремлен на убитого, пристывшего к пулемету. Зажав левой рукой зияющий провал в груди, Тарас шептал свое сердечное и страстное:

— Держись, дорогой!.. Нам некуда отступать, дорогой!..

ПОМНИ О ДРУЖБЕ

Что случилось потом, он уже не помнил. Он только ощутил землю, вздрогнувшую от взрыва авиабомбы, увидел звезды, качнувшиеся в глубоком небе, и услышал далеко-далеко на краю земли тоненький и грустный плач ребенка.

Сестра склонилась над ним и стала говорить

какие-то слова, но он не понимал их и спрашивал, где Вася Спиридонов, его корешок, с которым они рубали уголь в одном забое, но девочка не знала, где Вася Спиридонов, перевязывала ему ногу, и он сам стал звать его:

— Вася... родной... Вася...

И ободрял его ласковыми словами, которых стыдился раньше.

— Держись, дружок!..

А друг, казалось, был совсем рядом, и он сказал сестре, протянув руку во тьму:

— Там Вася. Сначала его перевяжи. Вася Спиридонов.

И тяжело выругался, потратив на это последние силы, но заставил все-таки сестру шарить по ночной прохладной земле и отыскивать его друга среди убитых и раненых.

Она поползла меж воронок, упираясь руками во что-то липкое и горячее, живое и умирающее, и тоже стала звать:

— Вася Спиридонов! Вася!

Она нашла его у подбитого танка, полужасыпанного землей, и когда откопала и при свете электрического фонарика осмотрела лицо, оно было черным, точно выточенным из антрацита. Тяжелые капли смертного пота холодно блестели на его лбу.

Сестра понесла его к черному восточному горизонту, сквозь сухие травы, через ковыль и пение цикад.

Его здорово контузило. Его ноги, как тряпки, волочились по траве, и сестренка сильно устала, прежде чем вынесла его к шоссе, где стояла санитарная машина.

А санитарные машины приходили и вновь

уходили, и когда сестра показала врачу раненого, он недолго смотрел на него и сказал: «Сильно контужен», и его перенесли в санитарную машину и повезли в полевой госпиталь за десять километров от фронта.

Раненые плакали в машинах, просили водки и опия или бредили, оправдываясь в давно исправленных ошибках, или же негодовали на что-то, сердились, просили их умертвить, потому что жизнь теперь им казалась неинтересной, но девушки, врачи давно уже привыкли к человеческим страданиям и не слышали ничего, а обсуждали, как идет наступление и как наши войска, углубляя прорыв, захватывают населенные пункты один за другим, а немцы откатываются на запад, не будучи в силах закрепиться на заранее подготовленных рубежах.

Раненый открыл глаза и вновь опустил веки. Вася Спиридонов лежал рядом с ним, и эту его успокоило. Он только тихо позвал его по имени, потом спросил, больно ли ему, но Вася Спиридонов промолчал, и раненый не стал настаивать. Он подумал, что Вася, наверное, усыплен обезболивающим лекарством и теперь будет спать до тех пор, пока врачи не сделают с ним все, что им покажется необходимым сделать.

Горнист заиграл зорю серебряную и звонкую, и раненый сквозь забытие вытянул руки по швам, и ему показалось, что он стоит в зеленой степи, среди гор, и командир роты делает переключку, и он стоит правофланговым, как всегда, и лейтенант произносит его имя «Петр Шкаруба» и фамилию его друга «Василий Спиридонов» звонко и отчетливо. «А завтра наступление», говорит ему Вася таким радостным

голосом, точно через неделю должна будет закончиться война и они вместе в армейских шинелях зашагают по родной донбасской степи к славной Горловке, к шахте.

И раненый шепчет:

— Ничего, Вася, сбудется.

Он знает, что сбудется, но он хочет припомнить, что произошло за первой линией немецких укреплений, и не может припомнить этого. Только звездное небо осталось в памяти, да покрытая серебряным ковылем степь, да звон цикад в ушах.

— Теперь восстанавливать все надо, — говорят девушки, и раненый отдается дремоте, удовлетворенный тем, что произошло за эту ночь.

«Значит, шахты наши», думает он, вновь впадая в непроглядную тьму забытья.

Потом он чувствует легкий звон в ушах и запах хлороформа. Он ощущает внезапную легкость в теле и враз наступающую тишину, точно его бросили на дно глубокой шахты и так оставили там лежать, чтобы он привык к своей судьбе и радовался свету, который суждено было увидеть ему потом.

— Теперь можно и в палату, — понял он последние слова врача и увидел свои забинтованные до паха ноги, и лампочку над собой в низеньком потолке, и врачей, работающих за соседним операционным столом, и ту сестру, что вынесла его с поля боя, а перед этим долго искала Васю Спиридонова.

И раненый сказал:

— А где Вася Спиридонов из второй роты?

Но ему не ответили и осторожно положили на носилки и долго несли куда-то, наверное

к Васе Спиридонову, чтобы тому было не скучно лежать одному среди других.

В маленькой хате было пустынно, как в операционной. У окна стояли две кровати, и у печи еще одна кровать, и его положили на ту, что у печи, а потом дали попить, а сами ушли с носилками, осторожно прикрыв двери, и он стал ждать своего друга, но стояла тьма вокруг и ничьи шаги не нарушали тишину, и это не успокаивало, а тревожило еще больше, точно тебя навсегда лишили зрения и слуха.

Только где-то, далеко-далеко, вспыхивал горизонт, точно в августе, когда сверкают зарницы над бескрайним морем зреющей пшеницы, над копрами и подъемными машинами горняцких шахт.

Лучше уж не думать об этом.

Снова песню поет земля. Или плачет тоненько и грустно, как ребенок, потерявший мать. Маленький, беспомощный ребенок.

Хоть бы сон пришел.

Но приходит забытье, тяжелое, как после хлороформа, когда голова кажется налитой ртутью, а во рту пахнет железом, покрытым окалиной.

Раненый засыпает, и мнится ему, что Вася Спиридонов выносит его, истекающего кровью, из Дона, и ему хочется поцеловать Васю в жесткие, небритые щеки, но вдруг все теряется во тьме, и раненый открывает глаза.

Он открывает глаза, приподнимается на локтях, и ложные видения овладевают им.

Ему кажется, что в ночной степи лежит истекающий кровью друг и зовет его последней силой своих легких:

— Петя, родненький, выручай... Петя, родненький... Ты слышишь меня?..

Раненый проводит рукой по холодному от пота лбу и тяжело падает на пол и кричит:

— Слышу, дорогой! Слышу!..

И ползет по-пластунски к порогу, и слова дружеской нежности шелестят с его губ:

— Держись, дорогой... Мы еще поживем... Мы еще уголек будем вместе рубать... в нашем... забое...

Утром его находят далеко в степи. Он лежит у белого придорожного столба, сваленного на-земь гусеницами танка, и шепчет тихо:

— Мы германа рубали, Вася. Мы разных гадов рубали. Теперь мы в Горловку пойдём, к своим шахтам. Держись, дорогой. Сейчас и санитары придут...

КОГДА ПРИЛЕТЯТ СКВОРЦЫ

Последняя авиабомба рухнула с холодного поднебесья. Последний самолет покрутился над селом и, сбитый тремя пулеметными очередями, вспыхнул в смертельном пике.

Дед Архип натянул лямки саней и перекрестился:

— Все так подохнете. Все!

Село лежало за березняком. Родное село. Разбитое село.

— Не плачь, старуха... Всё наживем! Всё!

Тоскует женщина. Она знает, что нет ее дома, нет бани, нет колодца. И все-таки идет. Об огороде мечтает. О новой жизни — такой же хоро-

шей, как до войны. Великая тоска по родимой сторонущке гонит ее печальными дорогами войны обратно в свою Сосновку.

— Не горюй, старуха! — шепчет Архип.

Легкий ветерок доносит едкий запах тротилā. Воронка еще дымится. Тонко гудит оцепеневшая земля.

Но лес стоит прежний, заиндевевший, и щепочка следов вьется меж стволов берез.

— Даже зайцы к войне привыкли, не вакуировались, — говорит бабка. И морщины на ее лице начинают постепенно разглаживаться.

Она с надеждой всматривается в февральское небо, белесое, студеное, родное. Вот минет лесок, и село будет видно.

— Картошку-то я хорошо упрятала... Может, не нашли ее, не разворовали. Топор-то ты не забыл?

— Нет, — говорит Архип, — и пилу не забыл, и молоток есть, и гвоздочков фунта три. Хватит пока.

Построит дед Архип пока хибару. А потом вернется колхоз из Рязанской области. Пригонит председатель Марина коров-холмогорок, лошадей. Новые дома выстроят мужики, а когда весеннее солнышко поднимется над лесами, кузня заработает. Будет кузнец ковать лемеха, направлять машины — и душе сразу потепление придет.

— Устала, старуха?

— Оброс ты, отец, — тихо говорит женщина. — Вон сколько седых волос-то появилось!

Скрипят тяжело груженные сани. Двести верст они проскрипели вслед за наступающей армией. Натерли лямки плечи. Лошадь бы... Но

Архип отказался от лошади. Она колхозу сейчас нужна, а ждать, когда двинут мужики в обратный путь, он не мог. Сон потерял. Ворочаясь на печи всю ночь, вспоминал родимую сторонушку.

— И хлевушок, небось, разбомбили, — говорил он. — Теплый хлевушок был! Проконопаченный, с полом!

— Да спи ты! — просила женщина.

Архип не надолго замолкал, а потом опять:

— Избу-то мы вместе с отцом еще строили. А дед сидит поодаль на сосновом обрубке и советы отцу дает: «Паз-то проконопать получше. Паз-то...»

Бледные звезды проступают в вечерющем небе. Метет поземка. Шумит лес...

— Так им и надо! — говорит старик и показывает глазами влево.

Заметает снег на взгорочке аккуратные ряды крестов со стальными касками наверху, с надписями на немецком языке.

Глухо шумит лес. Багровый месяц качается над горизонтом.

— Как тихо здесь стало! — говорит женщина. — Надо бы подождать наших. Все-таки повеселее было бы.

— Это вечером так. По утрам будет лучше, — почему-то говорит Архип, и лицо его сеет от горя.

За последним леском он видит разрушенную, догорающую Сосновку. Сизый дым стелется по снегу, и только печи, только черные трубы маячат на месте изб.

Архип выпутывается из лямки. Долгим, немигающим взглядом смотрит на родное село, и слезы застилают глаза...

говорит он. — Наши сейчас уже молотят рожь, а Никита, наверное, по саду расхаживает. Мечтает.

— А кто, этот Никита? — не понимает девушка.

— Садовод наш. На Урале. Он горбатый у нас. С детства.

— О чем же он может мечтать?

Боец вынимает дрожащей рукой папиросу и закуривает. Он отвечает медленно и тихо:

— О чем мечтает? О своих антоновских яблоках, о жизни, о себе. И больше всего о яблоках. Такой уж он странный.

— Ты тоже странный.

Девушка смотрит внимательно и нежно. Этот пристальный взгляд смущает бойца. Он видит сейчас перед собой не товарища на войне, а девушку: так сердечно она глядит на него.

— Я вовсе не странный, — говорит он, стараясь снисходительно улыбнуться. — Только война кончилась для меня. Теперь остались госпиталь, санитарный поезд... Ничего уж я больше такого не увижу.

— Если бы ты нашел в себе силы не верить этому! — говорит девушка. — Ведь пока ничто не потеряно.

— Не будем об этом говорить, — сказал раненый и закрыл глаза.

«Заснуть бы. Крепко. Надолго. И проснуться в госпитале», подумал он и постарался заснуть.

Нога жила. Он чувствовал, как зудит подошва, как ее хочется почесать.

Почему она зудит? Ведь одни сухожилия соединяют голень со ступней.

— Я и не думаю уходить, — плаксиво сказала девушка. — Как же я тебя брошу?

— Дура! — сказал боец и заскрипел зубами.

Через несколько минут он открыл глаза, взгляд их был глубок и странен.

— Какая ты маленькая... — улыбнулся он одними губами. — Куда мне с тобой?..

От этого можно было заплакать.

— Эх, ты! — сказала девушка. — А еще командир.

И, сделав суровое лицо, она встала на колени.

— Оставь меня в покое, — уже равнодушно сказал раненый. — Все равно тебе меня не утешить.

— Неправда! — чуть не плача, выдохнула девушка. — Сам ты баба!

И, шатаясь от тяжести, она понесла раненого в глубь леса.

Это стоило ей дорого: она чувствовала, как что-то обрывается внутри, как мутная истома охватывает все ее тело, как начинает кружиться голова и холодное утреннее солнце становится обжигающим и пыльным солнцем войны.

Бережно опустив бойца на мох, она прикрывает его ветками и, запоминая дорогу, по следу на траве возвращается за оружием.

К поясу она привешивает гранату и долго всматривается в пустынное шоссе.

Голова у нее кружится. Она прислоняется щекой к шершавой коре березы и закрывает глаза. Она чувствует, как земля медленно уходит из-под ног...

Она опускается на траву, и холодок земли радует ее. Девушка плачет, сама не замечая этого.

И старуха не деречит. Она уставляет стол картошкой, поджаренной на сале, капустой, щами:

— Ешь, старый! Хватит. Отгоревались.

И Архипу действительно кажется, что он отгоревался. Он пьет лафитничек, другой и мечтает. Скорее бы утро наступало. Остер топор. Какую хату строить — прикидывает. Маленькую надо, но светлую с большими окнами и тесовой крышей.

А чтоб крыша не гнила, он просмолит пазы. Вернутся сыновья с войны — помогут, а пока можно бревна готовить.

Сладкая истома овладевает телом. Старик ложится на полок и засыпает.

Просыпается он на заре. Утреннее солнце играет на боках чайника. Тишина.

— Что ж ты меня не разбудила? — ворчит он добродушно на старуху и, накинув полушубок и прихватив топор, выходит на улицу.

Тишина очаровывает его. И хотя, как и вечером, чернеют в глубоких снегах печальные остовы труб, Архипу уже негрустно. Он видит ветлу перед сгоревшим домом, видит скворечню, повешенную еще его старшим сыном, и, выругавшись крепким словом по адресу немцев, весело подмигивает себе:

— А ну, с богом!

И подходит к трем бревнам у бани, запорошенным снегом. «На нижнее венцо пригодятся», думает он, пробует обухом звенящее дерево, и кажется ему, что до весны совсем недалеко и что скоро, совсем скоро прилетят скворцы — самые радостные птицы на свете.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Степан Кузьмич прикрутил фитиль сигнального фонаря и наклонился над письмом.

«Федя! Сыночек мой! Теперь я остался совсем один. Мать похоронили после первого налета. Она посылку тебе сготовила: носки теплые да варежки, так что теперь не замерзнешь там, на позициях. Жалко мне мать, а может, и лучше, что она умерла, мучений не увидит. Коля наш ушел в партизаны, а я отказался...»

Ложатся неровные строчки на листок бумаги. И думает старик о том, как удастся ребятам переправить письмо через линию фронта.

«Теперь Петру надо, — подумал Степан Кузьмич. — Пусть не беспокоится».

Петр тоже работал когда-то на станции. Это он был десятником, когда через реку начали строить железнодорожный мост. Он хорошо строил этот мост, а потом шесть лет спустя стал инженером.

Степан Кузьмич разглаживает помятую бумагу и вздыхает. Потом поднимает голову и смотрит на печь, где спит кочегар Ильюшка.

Ильюшка пришел из деревни навестить Степана Кузьмича и, если можно, сманить его со станции. Теперь Ильюшка спит и видит, наверное, сны.

«Разбудить его, что ли? — подумал Степан Кузьмич. — Может, это он просто сам надумал?»

— Ильюшка, — тихо и смущенно позвал он кочегара. — Скажи, Ильюшка, может, это неправда?

Парень завозился, поднял над подушкой свою кудлатую голову и сердито ответил:

страшная гордость, что вот только от нее одной зависит его жизнь, овладевали ею.

У него было скуластое некрасивое лицо и неуклюжее длинное тело. Руки его, распластанные на траве, носили следы боя. Ладони были в масле и ссадинах. Девушка посмотрела на свои руки. Мягкая розовая кожа, прозрачная и бархатистая.

«Война, — подумала девушка. — И такие руки!»

Ей не понравились свои руки. Она еще боялась смерти, страданий и войны. Наверное, она еще не обрела подлинного мужества, такого, каким владел вот этот человек, подбивший связкой гранат вражеский танк. Может быть, ей и не дано быть такой, как он.

— Товарищ! — сказала девушка, низко наклонясь над лицом раненого. — Товарищ!

Веки бойца дрогнули, но он не открыл глаз.

— Наши отступили.

— Уходи, сестра, — тихо, но настойчиво прошептал боец. — Моя песня спета. Ты еще успеешь.

— Не говори глупостей! — сердясь, сказала девушка.

— Это маневр. Наши стоят по обе стороны шоссе. Они пропустят танки и отрежут их от пехоты. Я знаю.

— Никуда я не пойду.

— Девчонка!.. — сказал боец. — И на кой чорт вас сюда только посылают?

Они помолчали. На его висках, на лбу проступил пот.

— Ну, — сказал он, преодолевая судорогу лица, — ты все еще здесь?

Вася плыл как-то странно, боком. Левая рука его кровоточила.

— Ты не ошибся, Вася?

Вася не отвечал. Он плыл спиной к Никите, оставляя за собой кровавый след.

Никита закрыл глаза и услышал звук мотора. «Завели уже», подумал он, и ему стало безразлично, задохнулся офицер или нет.

Он выпустил его, но офицер уже не всплыл.

В моторку вскочило двое автоматчиков. Они оттолкнули лодку и посмотрели на мост.

— Теперь уже все кончено, — сказал Никита и удивился своему голосу. Он звучал, как голос другого человека.

Моторку уже подхватило течение, когда на мосту закричал офицер. Он показывал на Никиту, на Васю, который, шатаясь, уходил в плавни. Моторка повернула к мосту, и солдаты кинулись к левому берегу.

— Кончено, — сказал Никита, и ему показалось, что он различил злорадную гримасу на лице офицера.

Но солдаты не добежали до конца моста. Резкий взрыв расколол небо, и мост, как рыжая кошка, выгнул спину и в дыму, в водяных брызгах рухнул в реку. Взрывная волна на мгновение обнажила русло и выбросила Никиту в плавни.

Он упал, оглушенный. И только когда все заглохло, он почувствовал боль в ноге. Он не мог встать.

— Васенька! Корешок! — крикнул он и потерял сознание.

Очнулся он уже далеко от моста. Девушка-санитарка из партизанского отряда бинтовала ему ногу.

сомневайся, — добавил он, — придется взорвать. Дело такое.

— Я и не сомневаюсь, — говорит Степан Кузьмич. — Только я никуда не пойду.

— А если тебя убьют?

— Им нет выгоды меня убивать, — убежденно отвечает старик. И угрюмо смотрит в окно. Кочегар тихо уходит.

Степан Кузьмич взбирается на полати. Он долго ворочается там и никак не может уснуть. Вспомнился вдруг Остап, его напарник.

Остапа вызвал комендант станции и предложил вести состав до следующего перегона. Машинист наотрез отказался.

— Что скажут люди про меня? — сказал он коменданту с тоненькими усиками и бледным одутловатым лицом.

Остапа повесили у водокачки.

Ночью кто-то снял его труп, а поезд попрежнему не ушел со станции.

Комендант угрожал пистолетом, бегал по железнодорожному поселку, искал машиниста. Люди молчали. Никто не выдавал Степана Кузьмича. Никто не сказал, что он был машинистом и ему жал руку в Кремле Михаил Иванович..

Забылся наконец старик. Но в забвении тоже продолжалась жизнь. Он видел мост, построенный Петей, и шорох осоки, в которой прячется его сын Николай. В руках Николая длинный провод, и он напряженно смотрит во тьму.

— Все-таки придется взорвать, отец.

— Может, как-нибудь по-другому можно? — говорит ему Степан Кузьмич. — Ты все взрываешь. И паровоз мой взорвал и водокачку.

— Что ты понимаешь? — говорит Колька. —

А Остапа-то они повесили? — вдруг спросил он.

И старику сделалось горько.

— Ну, тогда скорее взрывавай.

И сын соединяет провода. Он соединяет провода, а по мосту идет немецкий комендант с бледным лицом и целится из пистолета в Николая.

— Ты что же, скрываешься? — кричит он, и усы его становятся длинными-длинными, а дуло пистолета растет и превращается в пушку.

— Взрывавай же! — кричит сыну Степан Кузьмич. — Что же ты ждешь?

И, вскинув винтовку, стреляет в усталые и бесцветные глаза офицера.

А офицер все идет на Кольку и продолжает кричать:

— Ты что ж, скрываться вздумал?..

Старик просыпается.

В дверь барабанят приклады винтовок.

«За мной пришли», екнуло у него сердце. И он пошел открывать дверь.

Солдаты входят боком, тыча в стороны дула своих автоматов.

— Пошли, — говорит комендант.

Степан Кузьмич надевает свою железнодорожную шинель и свертывает цыгарку.

— Ну! — нетерпеливо говорит комендант.

— Нечего понукать, — отвечает старик, — не зацрег.

И, только закурив, вышел впереди конвоя.

— Ты поведешь паровоз, — говорит комендант. — И мы тебе за это заплатим.

— Зачем мне плата? — спрашивает Степан Кузьмич. — Я довезу вас бесплатно.

И он сворачивает к путям.

дыхание на всю жизнь. В шапке-ушанке, в красно-армейской шинели она походила на мальчишку. Она одиночкой ходила в разведку, подрывала мосты связками гранат и однажды сожгла штаб, приперев дверь березовым поленом.

Старая женщина ставит трубу на самовар и прибирает в комнате. Она протирает окна и охает по привычке.

— Ишь ты, как заливается-то! — говорит она со странной гордостью. — Вроде соловья...

— Кто? — спрашивает Никита.

— Самовар, — отвечает бабка и крестится в угол. — Чуть было иконы не поскидали эти голодранцы немецкие.

— А на что им иконы?

— Вот я и говорю к тому, что все добро они у нас повыкрали. Теперь соберутся бабы и плачут. Пустует земля, а кто ее засеять будет? Колхоз бы. Да кто в председатели-то пойдет?

— Оксанка.

— Тут серьезный человек нужен, а она и росточком-то не вытянула. Командовать людьми рано. Вот если бы ты у нас остался... Останься, сынок.

— Меня дома ждут. Мать, небось, все глаза проплакала, — сказал Никита. — Небось, они уже похоронили меня.

— Мы все привыкли к тебе, как будто век с тобой прожили, — сказала бабка и, сняв трубу с клокотавшего самовара, покрыла его конфоркой. — Давай-ка чайку попьем.

Никита промолчал. Ему было приятно, что дома его ждут и отец и мать, а он живой и может хоть завтра уехать к ним. И такой неожиданности будет удивляться все село. И старый

ветер по голым ветвям осины и дерево скрипит, жалуясь на что-то. Осине, наверное, трудно возвращаться к жизни, вот она и жалуется.

— Бабушка, — сказал Никита, — а у вас растут подснежники?

— Ась? — отозвалась она.

— Об эту пору у нас много подснежников, — сказал Никита. — Я очень люблю подснежники...

— Спи, сынок, — сказала бабка. — Или самоварчик поставить? Скоро и Оксанка придет.

— Жалко, что у вас не растут, — сказал Никита. — На родине их у нас сколько хочешь об эту пору.

Бабка что-то промычала и вновь зачмокала губами. Может быть, допивала во сне свой чай.

«Скоро, наверное, прилетят журавли», подумал Никита, а потом поднимется зелень во-всю, а в лесу появятся сморчки и закукует кукушка. Скрипит осина под окном, жалуется на что-то.

— Бабка, а правда, что на осине Иуда удавился?

Женщина тихо вздохнула, посмотрела на Никиту сонным взором и сказала:

— Ась?

— Я это так, — сказал Никита, — про разную глупость думаю.

— А что, уже светает? — спросила бабка и приставила ладонь к правому уху.

— Да нет, — сказал Никита. — Спи, знай.

Но бабка уже не могла спать. На околице запел единственный на деревне петух, и бабка перекрестилась. С удивительной легкостью она сошла на пол и влюбленным взглядом окинула предпечье, и самовар, и разную домашнюю

минут. Вы еще успеете допеть свою песню». И, чтобы чем-то еще досадить этим людям, принесшим такое горе, старик потянул за рычаг свистка. Продолжительный и яростный гудок заглушил песни.

Все меньше и меньше оставалось километров до моста.

— Пять... — считал Степан Кузьмич. — Четыре... Три...

И он вновь дал продолжительный и настойчивый гудок. Он давал знать Николаю, что поезд совсем рядом и что пора приготовиться всем кочегарам, кондукторам и машинистам, таящимся в речных камышах.

Вот и легкий поворот. Старик чувствует его по наклону паровоза. Показались переплеты моста, освещенные осенним солнцем, и фигуры немецких часовых.

— Два... Один... — шепчет он побелевшими губами и снова берется за лопату, отходя от топки к лотку с углем. Потом смотрит через плечи конвоиров в окошко и кричит:

— Партизаны!

Немцы кидаются к окошку:

Степан Кузьмич распахивает дверку будки и мгновение медлит. Потом бросается под откос.

«Колька! Петя!» мелькает в его сознании. И тут раздается страшный грохот.

Когда он открывает глаза, он видит рухнувший мост, гору вагонов и искалеченный паровоз.

Над рекой стоит крик обезумевших людей и стрекот пулеметов.

— Вот вам, сволочи! — шепчет Степан Кузьмич и уползает в кусты; волоча искалеченную ногу.

Они стояли плечом к плечу и видели перед собой поверхность реки, еще покрытой утренним туманом.

— Теперь уж немного осталось ждать, — сказал Никита. — Он только поговорит по телефону и вернется.

Они посмотрели и вправо и влево. По концам моста стояли немецкие часовые. Чуть подальше готовились к бою расчеты зенитных батарей. Никита и Вася знали, что позади стоит с автоматом через плечо немец с ефрейторскими нашивками и сплюсненным носом, очевидно боксер. Им хотелось обернуться. Но оборачиваться было опасно: у ефрейтора могли возникнуть подозрения, а это не входило в их планы.

Они привыкли выпутываться из самых сложных положений, и было глупо и на этот раз не попробовать остаться в живых. Но офицер не шел, а это уже было хуже.

С каждой минутой в их распоряжении оставалось все меньше и меньше времени. Они знали, что мост взлетит на воздух самое большое через пятнадцать-двадцать минут.

— Ни черта он не придет, — сказал Вася и облизал губы, рассеченные рукояткой офицерского пистолета. — Давай лучше подначим эту сволочь.

— Эй, ты, сука! — сказал Никита. — Знаешь, как называется эта река?

— Молшать! — сказал ефрейтор.

— Ну его к чорту! — сказал Вася. — Не связывайся с ним!

Они молча продолжали смотреть на реку и

чистила свой ведерный самовар, и каждая морщина ее высохшего лица теперь была тоже переполнена счастьем. Самовар ей прислали люди далекого сибирского колхоза. Они и не подозревали, что спасли сердце старушки своей заботливостью и сочувствием. Приди все это позже, бабка бы не выдержала жизни и возненавидела бы ее. Много ли человеку надо для счастья? Бабке достаточно было самовара и записки, вложенной под крышку.

«Пейте на здоровье, не знакомые и дорогие нам люди! Все равно немцы будут разбиты, а наша жизнь попрежнему пойдет хорошо, и мы будем пить чай с колхозным медом, а Гитлера утопим в поганом болоте».

Никита опустил веки, и убитый немецкий солдат снова лежал перед ним. Он лежал на февральском льду посреди Вертушинки и видел мертвыми глазами весенние звезды и русское небо. Вода пропитала его тонкую шинель. Вода обмывала его давно не бритое лицо, и волосы его, белокурые и спутанные, набухли от воды. Солдат видел небо, и лицо его было спокойным, точно он должен был уплыть сегодня на Запад, в свой Гамбург, в свою Германию.

Пусть лежит он, мертвый, на февральском льду. Пусть напрасно ожидают его Марты и Гертруды. Он бы остался жив, если б не гонялся за русскими девушками. Никита никого не обижал зря, а раз война и такое дело, Никита не мог иначе поступить.

За легкой занавеской из марли пустует кровать Оксанки. Спит бабка на печи, причмокивая губами. Снится, небось, ей сон — она пьет чай из своего самовара. Слышно, как в ночи шуршит

— Посмотри на шоссе: может, что-нибудь там есть.

Девушка поднялась и какой-то странной, разбитой походкой пошла к шоссе.

Роса уже вновь лежала на листве осинника. Капельки ее покрыли ворсинки на шинели. Запахло болотом и чащобой. Сладкий, чуть дурмящий запах осени.

Потом показалась луна. Смутная в вечернем тумане.

— Никого там нет, — сказала девушка.

Он вновь закрыл глаза и ничего не ответил.

Девушка покрыла его своей шинелью и села рядом. Она посмотрела на луну и вздохнула. Тяжело ей достанется эта ночь.

Противный озноб начинает наполнять ее тело. Гимнастерка не греет. Спит боец тяжелым и больным сном. Губы его шевелятся, лицо сереет, и лихорадочные пятна болезни проступают на щеках.

«Скоро он будет бредить», думает девушка.

— Ушел, ушел! — шепчет раненый.

В удушливом кошмаре ползут на него немецкие танки. Они грохочут, и гусеницы их рвут землю, и стреляют пушки вдоль шоссе прямой наводкой.

— Пить, — попросил он, открывая глаза.

Он хотел повторить просьбу, но испуганно замолк: девушка спала рядом с ним на траве, и лицо ее было объято жаром, а руки вздрагивали. Боец тылом ладони прикоснулся к ее лбу. Сомнений не оставалось: девушка заболела.

В эти дни санитаркам некогда было уснуть: они подбирали раненых и убитых, уносили винтовки и гранаты...

вырвался из его рук. Легко выкидывая руки, немец плыл брассом. Немцы вытащили пулемет. Теперь они охотились за Васей. Они ни на секунду не выпускали его из-под пуль, и Никита во что бы то ни стало решил догнать офицера.

Никите мешали широкие немецкие сапоги, снятые с убитого солдата, и он нырнул. Он легко освободился от них и стал наступать офицера, уносимого течением к левому берегу, к плавням. Плавни были уже близко. В этот момент Никита нырнул и схватил немца за ногу.

Немец отбивался. Он уже ослабел в своем туго подтянутом обмундировании. Все это отвлекло внимание солдат от Васи. Они перенесли огонь на Никиту. Боли он не почувствовал. Пулеметная очередь прошла его ноги, и в это мгновение в глазах его вспыхнул алый отсвет и к горлу подступила тошнота.

Никита нырнул, увлекая за собой офицера. Уже задыхаясь, он открыл глаза и услышал густую очередь, от которой дрогнуло все тело офицера. Сделав последнее конвульсивное движение ногами, офицер поддался усилиям Никиты.

«Неужели и теперь повезло?» подумал Никита и вновь вынырнул на поверхность, не выпуская офицера.

Мост уже был полон солдат. Они смотрели почему-то вправо.

— Моторка, — прошептал Никита:

Страшное сомнение ожгло его сознание: как мост? Неужели не взорвется мост? Он должен был уже взорваться. Десять минут прошло.

Всплеск слева отвлек его.

— Васенька, — сказал Никита, — корешок мой!

Вася плыл как-то странно, боком. Левая рука его кровоточила.

— Ты не ушибся, Вася?

Вася не отвечал. Он плыл спиной к Никите, оставляя за собой кровавый след.

Никита закрыл глаза и услышал звук мотора. «Завели уже», подумал он, и ему стало безразлично, задохнулся офицер или нет.

Он выпустил его, но офицер уже не всплыл.

В моторку вскочило двое автоматчиков. Они оттолкнули лодку и посмотрели на мост.

— Теперь уже все кончено, — сказал Никита и удивился своему голосу. Он звучал, как голос другого человека.

Моторку уже подхватило течение, когда на мосту закричал офицер. Он показывал на Никиту, на Васю, который, шатаясь, уходил в плавни. Моторка поворотила к мосту, и солдаты кинулись к левому берегу.

— Кончено, — сказал Никита, и ему показалось, что он различил злорадную гримасу на лице офицера.

Но солдаты не добежали до конца моста. Резкий взрыв расколол небо, и мост, как рыжая кошка, выгнул спину и в дыму, в водяных брызгах рухнул в реку. Взрывная волна на мгновение обнажила русло и выбросила Никиту в плавни.

Он упал, оглушенный. И только когда все затихло, он почувствовал боль в ноге. Он не мог встать.

— Васенька!, Корешок! — крикнул он и потерял сознание.

Очнулся он уже далеко от моста. Девушка-санитарка из партизанского отряда бинтовала ему ногу.

СЕСТРЕНКА

Он лежал на лесной прогалине и все еще бредил атаккой.

— Я тебе покажу, гадина! — шептал он обветрившимися, черными губами. — Не уйдешь!

Санитарка быстро делала свое дело. Она оттащила его к кустам, и трава в том месте, где они проковыляли, стала глянцевою, сизой, как после инея.

— Потерпи, товарищ, не надо кричать, — настойчиво и мягко попросила она.

— Гадина! — все тише и тише повторял раненый, и тяжелые кулаки его медленно распустились, по острым скулам поползли блеклые пятна.

Девушка встала на колени, всмотрелась в его лицо и ощутила губами прерывистое, горячее дыхание.

Перочинным ножом она разрешила голенище левого сапога. Сладковатый запах крови и пота стеснил ей дыхание. Это было новое ощущение, и она на мгновение закрыла глаза. Она перестала даже дышать: так сильно пахла кровь.

Но руки попрежнему ощущали густую теплоту, и она открыла глаза. Она преодолела тошноту, подкатывавшую к гортани, и бережно освободила раздробленную ногу от голенища.

Отрезав штанину повыше колена, девушка резиновым жгутом перетянула ногу и остановила кровотечение.

Теперь оставалось закрыть рану. Но когда она стала это делать, руки отказались ее слушаться. Голубые жилки, подрагивавшие в густой крови,

притягивали ее взгляд и вызывали головокружение.

— Боишься?

Девушка вздрогнула. Она посмотрела на раненого. Скуластое лицо его было бескровным, и губы казались еще более черными и обветрившимися. Одни глаза смотрели на девушку спокойно и понимающе. Точно это были глаза совсем другого человека.

— А ты не бойся... — тихо сказал он. — Я уже теперь ничего не чувствую.

И, опустив веки, раненый спросил:

— Ее отнимут? Да?

Девушка не ответила, она быстро закрыла марлей рану.

— Значит, правда? — настойчиво повторил боец.

— Лежи, — сказала девушка. — Я позову врача.

Ткнувшись носом в канаву, догорал у шоссе вражеский танк. Раскаты боя удалялись. Шипящий, придыхающий свист повисал на мгновение в воздухе, и лишь спустя минуту-две раздавалось «ух-ахр» дальнобойных орудий.

Девушка посмотрела на дорогу, и губы ее задрожали. Беспорядочно паля, мчались вражеские мотоциклисты. Она отпрянула к кустам.

— Ну вот... — растерянно прошептала девушка. — Ну вот...

За мотоциклистами ползли тяжелые танки. В асфальт впечатались следы широких гусениц. Потом все стало тихо, и только мерный шаг пехоты был слышен за изгибом шоссе.

Девушка долго и внимательно всматривалась в лицо раненого, и нежность, и сострадание, и

страшная гордость, что вот только от нее одной зависит его жизнь, овладевали ею.

У него было скуластое некрасивое лицо и неуклюжее длинное тело. Руки его, распластанные на траве, носили следы боя. Ладони были в масле и ссадинах. Девушка посмотрела на свои руки. Мягкая розовая кожа, прозрачная и бархатистая.

«Война, — подумала девушка. — И такие руки!»

Ей не понравились свои руки. Она еще боялась смерти, страданий и войны. Наверное, она еще не обрела подлинного мужества, такого, каким владел вот этот человек, подбивший связкой гранат вражеский танк. Может быть, ей и не дано быть такой, как он.

— Товарищ! — сказала девушка, низко наклонясь над лицом раненого. — Товарищ!

Веки бойца дрогнули, но он не открыл глаз.

— Наши отступили.

— Уходи, сестра, — тихо, но настойчиво прошептал боец. — Моя песня спета. Ты еще успеешь.

— Не говори глупостей! — сердясь, сказала девушка.

— Это маневр. Наши стоят по обе стороны шоссе. Они пропустят танки и отрежут их от пехоты. Я знаю.

— Никуда я не пойду.

— Девчонка!.. — сказал боец. — И на кой чорт вас сюда только посылают?

Они помолчали. На его висках, на лбу проступил пот.

— Ну, — сказал он, преодолевая судорогу лица, — ты все еще здесь?

— Я и не думаю уходить, — плаксиво сказала девушка. — Как же я тебя брошу?

— Дура! — сказал боец и закрипел зубами.

Через несколько минут он открыл глаза, взгляд их был глубок и странен.

— Какая ты маленькая... — улыбнулся он одними губами. — Куда мне с тобой?..

От этого можно было заплакать.

— Эх, ты! — сказала девушка. — А еще командир.

И, сделав суровое лицо, она встала на колени.

— Оставь меня в покое, — уже равнодушно сказал раненый. — Все равно тебе меня не утешить.

— Неправда! — чуть не плача, выдохнула девушка. — Сам ты баба!

И, шагаясь от тяжести, она понесла раненого в глубь леса.

Это стоило ей дорого: она чувствовала, как что-то обрывается внутри, как мутная истома охватывает все ее тело, как начинает кружиться голова и холодное утреннее солнце становится обжигающим и пыльным солнцем войны.

Бережно опустив бойца на мох, она прикрывает его ветками и, запоминая дорогу, по следу на траве возвращается за оружием.

К поясу она привешивает гранату и долго всматривается в пустынное шоссе.

Голова у нее кружится. Она прислоняется щекой к шершавой коре березы и закрывает глаза. Она чувствует, как земля медленно уходит из-под ног...

Она опускается на траву, и холодок земли радует ее. Девушка плачет, сама не замечая этого.

Плечи ее вздрагивают, и винтовка с оптическим прицелом выскальзывает из рук. Потом это странное состояние проходит. И хотя мир, небо, трава, солнце попрежнему качаются перед ее взглядом, она встает.

...Боец спит. Над лесом летят «Мессершмитты». Они глухо урчат от боевого напряжения. Этот астматический гул будит раненого.

— Дай мне винтовку, — просит он.

— Отдыхай, — говорит девушка. — Там идут по шоссе.

— У меня хватит силы, — говорит боец.

— Они все равно высоко, — отвечает девушка.

Голова ее кружится. Проклятое состояние! Ночью она спала на земле и, очевидно, простыла. Вот к чему приводит легкомыслие! Она больше никогда не будет спать из-за хвастовства на сырой земле.

Но самолеты летят все-таки низко. Она поднимает винтовку.

— Не надо, — говорит боец. — Мне показалось, что я смогу стрелять.

Он долго молчит и шевелит губами. Он дрожит в мелком ознобе.

— Какой холодище! — говорит он. — А ведь еще не осень.

— Это от ноги.

— Мне же совсем не больно!

— Это ничего не значит. Скоро опять будет больно.

— Ну и черт с ней! — говорит боец. — Теперь мне все равно. Все равно ее придется отрезать, — поясняет он.

— Надо верить, что этого не будет.

Боец пристально смотрит на девушку, улыбается устало:

— А ты настоящий врач: ты боишься сказать правду.

Девушка снимает шинель и укутывает бойца. Вечер не приносит им утешения.

Она вынимает галеты и банку с консервами, вскрывает ее штыком и подвигает к бойцу:

— Подкрепись, товарищ!

И, повернув его на бок, чтобы было удобно, она поддерживает его левой рукой и кормит с ложки.

— Завтра ты будешь в госпитале, и все будет хорошо.

— А ночь?

— Ты поспишь эту ночь. Мы подождем наступления наших.

Раненый медленно ест. На серых скулах его появляется румянец.

— У меня есть сестренка, — почему-то говорит он. — Насупленная такая, сердитая. Я часто думаю о ней. Мечтаю.

Боец улыбается медленной и сдержанной улыбкой.

— Такая уж не заплачет! — смеется боец. — Нет! Она даже не поверит, что меня ранили. Так, скажет, царапина какая-нибудь...

— Не надо об этом думать, — говорит девушка.

— А я и не думаю: я просто знаю. Только мне обидно, что эта гадина все-таки удрала.

Боец молчит, ложится. Он видит вечернее небо, и в его глазах отражаются редкие облака и ветка осины.

— Скоро уж осень, — со странной грустью

говорит он. — Наши сейчас уже молотят рожь, а Никита, наверное, по саду расхаживает. Мечтает.

— А кто этот Никита? — не понимает девушка.

— Садовод наш. На Урале. Он горбатый у нас. С детства.

— О чем же он может мечтать?

Боец вынимает дрожащей рукой папиросу и закуривает. Он отвечает медленно и тихо:

— О чем мечтает? О своих антоновских яблоках, о жизни, о себе. И больше всего о яблоках. Такой уж он странный.

— Ты тоже странный.

Девушка смотрит внимательно и нежно. Этот пристальный взгляд смущает бойца. Он видит сейчас перед собой не товарища на войне, а девушку: так сердечно она глядит на него.

— Я вовсе не странный, — говорит он, стараясь снисходительно улыбнуться. — Только война кончилась для меня. Теперь остались госпиталь, санитарный поезд... Ничего уж я больше такого не увижу.

— Если бы ты нашел в себе силы не верить этому! — говорит девушка. — Ведь пока ничто не потеряно.

— Не будем об этом говорить, — сказал раненый и закрыл глаза.

«Заснуть бы. Крепко. Надолго. И проснуться в госпитале», подумал он и постарался заснуть.

Нога жила. Он чувствовал, как зудит подошва, как ее хочется почесать.

Почему она зудит? Ведь одни сухожилия соединяют голень со ступней.

— Посмотри на шоссе: может, что-нибудь там есть.

Девушка поднялась и какой-то странной, разбитой походкой пошла к шоссе.

Роса уже вновь лежала на листве осинника. Капельки ее покрыли ворсинки на шинели. Запахло болотом и чащобой. Сладкий, чуть дурманящий запах осени.

Потом показалась луна. Смутная в вечернем тумане.

— Никого там нет, — сказала девушка.

Он вновь закрыл глаза и ничего не ответил.

Девушка покрыла его своей шинелью и села рядом. Она посмотрела на луну и вздохнула. Тяжело ей достанется эта ночь.

Противный озноб начинает наполнять ее тело. Гимнастерка не греет. Спит боец тяжелым и больным сном. Губы его шевелятся; лицо сереет, и лихорадочные пятна болезни проступают на щеках.

«Скоро он будет бредить», думает девушка.

— Ушел, ушел! — шепчет раненый.

В удушливом кошмаре ползут на него немецкие танки. Они грохочут, и гусеницы их рвут землю, и стреляют пушки вдоль шоссе прямой наводкой.

— Пить, — попросил он, открывая глаза.

Он хотел повторить просьбу, но испуганно замолк: девушка спала рядом с ним на траве, и лицо ее было объято жаром, а руки вздрагивали. Боец тылом ладони прикоснулся к ее лбу. Сомнений не оставалось: девушка заболела.

В эти дни санитаркам некогда было уснуть: они подбирали раненых и убитых, уносили винтовки и гранаты...

Это были не просто санитарки. Их ласковые руки умели делать тысячи дел.

И, боясь выдать свою нежность, боясь вскрикнуть от боли, раненый закрыл глаза и откатился в сторону, чтобы освободить шинель из-под себя.

Он сразу же потерял сознание.

Потом, когда он поднял веки, ему стало удивительно хорошо.

Он уже лежал на шинели, и девушка, бинтуя ему ногу, смотрела на него виновато и смущенно:

— Я, понимаешь, уснула, а ты и откатился.

— Мне хорошо, — сказал он, — мне очень хорошо. Только я зябну, — схитрил он. — Вот спирту бы!

Она постаралась улыбнуться:

— Я лягу рядом с тобой, — просто сказала она: — все-таки будет теплее.

И, укрыв его шинелью, она легла рядом и укутала полой шинели его ногу.

— Постарайся уснуть, товарищ. Скоро будет утро.

Но до утра было еще очень далеко, и он успел за это время пережить две атаки, а она вспомнить родину.

— Ты спишь, сестренка? — спросил раненый.

— Я думаю, — сказала она. — Я думаю о том, как тебя зовут.

— Антоном, — сказал раненый. — Антон Вершинин.

— Спи, Антоша, — сказала девушка.

— А как тебя звать?

— Анастасия, Настя.

— Теперь я засну, — удовлетворенно сказал раненый, — а то я все время думал об этом и никак не мог заснуть.

Он попросил пить. Она дала ему воды, и он заснул. Ему теперь не было больно, и он спал так крепко, что не слышал ни боя на шоссе, ни взрывов вокруг. Он не почувствовал и того, как девушка, сгибаясь под тяжестью и облизывая потрескавшиеся губы, несла его через лес, через речку, через болото, к своим, к госпиталю.

Очнулся он уже через сутки. Нога его была в гипсе, и, может быть, самой счастливой из всех на войне была маленькая санитарка, наклонившаяся над ним. И, когда он открыл глаза, первое слово, произнесенное им, было «сестренка».

— Я здесь, Антоша, — сказала девушка.

И чтобы впредь им было так же хорошо встречаться, она сказала:

— Хочешь, я напишу письмо твоей сестренке? Длинное-длинное письмо?

Но он покачал головой и смущенно сказал:

— Не надо..

— Почему?

— Не надо.. Я все это придумал:

РОДИМАЯ СТОРОНУШКА

Раненый сержант Никита проснулся от странного ощущения счастья и тревоги. Он поправил повязку на руке и прислушался. Шел дождь, спокойный и щедрый, пахнувший талыми просторами и ночным небом. Потом дождь затих, и Никите показалось, что он может теперь представить, как распускает свои сережки ольха, покрываясь буровой пылью; как взывают на заре в чистое небо жаворонки и запевают свои песни, переполненные звонким птичьим счастьем.

Бабка спала на печи. По утрам она долго

чистила свой ведерный самовар, и каждая морщинка ее высохшего лица теперь была тоже переполнена счастьем. Самовар ей прислали люди далекого сибирского колхоза. Они и не подозревали, что спасли сердце старушки своей заботливостью и сочувствием. Приди все это позже, бабка бы не выдержала жизни и возненавидела бы ее. Много ли человеку надо для счастья? Бабке достаточно было самовара и записки, вложенной под крышку.

«Пейте на здоровье, не знакомые и дорогие нам люди! Все равно немцы будут разбиты, а наша жизнь попрежнему пойдет хорошо, и мы будем пить чай с колхозным медом, а Гитлера утопим в поганом болоте».

Никита опустил веки, и убитый немецкий солдат снова лежал перед ним. Он лежал на февральском льду посреди Вертушинки и видел мертвыми глазами весенние звезды и русское небо. Вода пропитала его тонкую шинель. Вода обмывала его давно не бритое лицо, и волосы его, белокурые и спутанные, набухли от воды. Солдат видел небо, и лицо его было спокойным, точно он должен был уплыть сегодня на Запад, в свой Гамбург, в свою Германию.

Пусть лежит он, мертвый, на февральском льду. Пусть напрасно ожидают его Марты и Гертруды. Он бы остался жив, если б не гонялся за русскими девушками. Никита никого не обижал зря, а раз война и такое дело, Никита не мог иначе поступить.

За легкой занавеской из марли пустует кровать Оксанки. Спит бабка на печи, причмокивая губами. Снится, небось, ей сон — она пьет чай из своего самовара. Слышно, как в ночи шуршит

ветер по голым ветвям осины и дерево скрипит, жалуясь на что-то. Осине, наверное, трудно возвращаться к жизни, вот она и жалуется.

— Бабушка, — сказал Никита, — а у вас растут подснежники?

— Ась? — отозвалась она.

— Об эту пору у нас много подснежников, — сказал Никита. — Я очень люблю подснежники...

— Спи, сынок, — сказала бабка. — Или самоварчик поставить? Скоро и Оксанка придет.

— Жалко, что у вас не растут, — сказал Никита. — На родине их у нас сколько хочешь об эту пору.

Бабка что-то промычала и вновь зачмокала губами. Может быть, допивала во сне свой чай.

«Скоро, наверное, прилетят журавли», подумал Никита, а потом поднимется зелень во-всю, а в лесу появятся сморчки и закукует кукушка. Скрипит осина под окном, жалуется на что-то.

— Бабка, а правда, что на осине Иуда удавился?

Женщина тихо вздохнула, посмотрела на Никиту сонным взором и сказала:

— Ась?

— Я это так, — сказал Никита, — про разную глупость думаю.

— А что, уже светает? — спросила бабка и приставила ладонь к правому уху.

— Да нет, — сказал Никита. — Спи, знай.

Но бабка уже не могла спать. На околице запел единственный на деревне петух, и бабка перекрестилась. С удивительной легкостью она сошла на пол и влюбленным взглядом окинула предпечье, и самовар, и разную домашнюю

мелочь, с которой, наверное, бог женщину на свет явил, как бы понимая, что затоскует баба, если ей ухвата да горшков на земле не дать. Схватив мочалку и обмакнув ее в толченый кирпич, бабка начала чистить самовар.

— И что это Оксанка бродит? — сказала бабка. — Еще пристрелят в лесу.

— Теперь уже не пристрелят, поздно, — сказал Никита и вспомнил мужиков в лесу с немецкими автоматами в руках и Оксанку, повариху у них. Он пристал к мужикам, выходя из окружения, и, когда его ранили, Оксанка увела его в свое село, уже свободное от немцев. Оксанка шла впереди, когда из кустов вышел солдат.

— Ты откуда? — отшатнулась Оксанка и спрятала руку за спину.

— Гамбург, — ответил солдат и поднял свой автомат.

Выстрелить он не успел. Он упал на лед посреди Вертушинки от пули Никиты.

— Насмерть, — сказала Оксанка и прошла мимо убитого, сжав губы, как мимо трупа собаки.

Теперь Никита отвоевал. Не успеет рожь выбросить колос, как он уедет на свою родину, в свой колхоз, к матери и отцу. Он обязательно уедет, но мысль об этом уже не занимала Никиту. Теперь ему некуда торопиться. По ночам он чувствует, как подолгу ворочается на своей постели Оксанка, как она босиком, на цыпочках, подходит к его кровати и подолгу смотрит на его забинтованную руку, на его лицо, зеленое от боли и усталости. По вечерам она кормит его с ложечки, хотя он отлично управляется левой рукой. Но он делает вид, что ему очень тяжело

есть самому, потому что глаза Оксанки блестят от счастья, от радостной мысли, что она спасает ему жизнь.

— И в кого она такая, бродяга, уродилась, — говорит бабка. — То ревет по утрам, то куда-то в лес за трактором ушла. Немцы, видишь, трактор бросили, так она его исправляет. О пахоте думает. И все бабы сейчас взбесились. Колхоз думают начать снова, а Оксанку — в председатели.

— Ишь ты! — говорит Никита, и какая-то зависть к Оксанке просыпается в нем. — Отчего же она плачет тогда?

Бабка последний раз проводит холщевой тряпкой по конфорке, начищенной до золотого блеска, и говорит раздумчиво и степенно:

— Известно, отчего. Кровь играет. В такие годы и я полоумной была.

— А ты все еще помнишь, — улыбается Никита. — Я думал, ты все позабыла, а ты все еще помнишь...

— Всякое бывало, — сумрачно говорит женщина.

Он закрывает глаза, чтобы еще подремать до утра, но за окном поют ручьи, и скрипит осина, и ссорятся под застрехой воробьи, устраивая свое маленькое счастье. Хорошо бы сейчас выехать в поле с плугом на паре добрых коней и задолго до зари перепахать добрый кусок земли.

— Сволочи! — говорит Никита, вспоминая свою руку, сладко ноющую в суставе.

Он не сможет пахать в эту весну. Проклятый снайпер, укрывшийся на сосне, ссек пулей командира отряда — учителя средней школы. Потом он поранил Никиту. Оксанка отволокла его в шалаш, и он запомнил тогда ее учащенное

дыхание на всю жизнь. В шапке-ушанке, в красно-армейской шинели она походила на мальчишку. Она одиночкой ходила в разведку, подрывала мосты связками гранат и однажды сожгла штаб, приперев дверь березовым поленом.

Старая женщина ставит трубу на самовар и прибирает в комнате. Она протирает окна и охает по привычке.

— Ишь ты, как заливается-то! — говорит она со странной гордостью. — Вроде соловья..

— Кто? — спрашивает Никита.

— Самовар, — отвечает бабка и крестится в угол. — Чуть было иконы не поскидали эти голодранцы немецкие.

— А на что им иконы?

— Вот я и говорю к тому, что все добро они у нас повыкрали. Теперь соберутся бабы и плачут. Пустует земля, а кто ее засеять будет? Колхоз бы. Да кто в председатели-то пойдет?

— Оксанка.

— Тут серьезный человек нужен, а она и рюсточком-то не вытянула. Командовать людьми рано. Вот если бы ты у нас остался.. Останься, сынок.

— Меня дома ждут. Мать, небось, все глаза проплакала, — сказал Никита. — Небось, они уже похоронили меня.

— Мы все привыкли к тебе, как будто век с тобой прожили, — сказала бабка и, сняв трубу с клокотавшего самовара, покрыла его конфоркой. — Давай-ка чайку поьем.

Никита промолчал. Ему было приятно, что дома его ждут и отец и мать, а он живой и может хоть завтра уехать к ним. И такой неожиданности будет удивляться все село. И старый

Михей отдаст ему свой председательский портфель из брезента и скажет: «Наконец-то, Никита Сергеич, я отмучился. Ох, тяжеленько в председателях ходить! Не раз бывало я вспоминал: где, мол, наш председатель с немчурой воюет? Жив ли, али лежит в сырой земле, похороненный наспех?..»

— Вставай, сынок, — тихо говорит бабка. — Оксанка для тебя даже белых сухариков достала, даже медку раздобыла.

И она помогает Никите одеться и привстать с кровати.

— Ишь ты, какой испитой стал, — говорит она добродушно и ласково.

В голубую чашку она наливает Никите чаю. По-матерински озабочено ее лицо.

Солнечный лучик вспыхивает в комнате на чашке, на пузатом самоваре, и котенок ловит его лапой и умывает мордочку.

— Гостей замывает, — говорит бабка и медленно пьет чай и думает о чем-то своем, стариковском.

Прохладная утренняя тишина стоит посреди улицы, и петух — тот, что разбудил бабку, — стоит у широкой лужи и клюет воду, забавно задирая голову и воинственно поглядывая на кошку, перебегающую улицу.

«И куда это только запропастилась Оксанка?» думает Никита и смущается под взглядом старых глаз. Обо всем догадывается бабка, и румянец трогает серые щеки Никиты. Он опускает взгляд, делая вид, что занят только своей чашкой и ни о чем другом не думает.

— Скоро она придет, — говорит бабка. — От меня ведь не скроешь.

— О чем это ты? — говорит Никита, смущаясь еще сильнее. — Что ты такое знаешь, что я скрываю?

— Разное, — говорит бабка. — У меня ведь глаза едучие. Немало парней за нос поводила на своем веку.

— Вот бесстыдница-то! — говорит Никита. — А если господь за это накажет?

— Да я же потом исповедывалась у попа, — с тревогой говорит бабка. — Даже святых отцов дьявол искушал, а меня, грешную, как не искусить! Сам подумай.

— Это правда, — соглашается Никита. — Кто не грешен! — улыбается он. — Вот и меня дьявол искушает... Куда только он делся?

Бабка не успевает ответить. Мимо окна мелькает синее платье Оксанки. Она вбегает в избу, и на лице ее, измазанном машинным маслом, мальчишеская радость.

— Все в порядке, товарищ сержант, — говорит она, подмигивая Никите. — Тонька сейчас приедет на нем.

Бабка с восхищением смотрит на внучку.

— А ты, говоришь, дьявол! — улыбается она Никите. — Она скорее херувим, а не дьявол. Бабы-то теперь ее на руках носить будут. Чего доброго, и впрямь в председатели выберут! Комсомолка ведь.

— У херувима крылья бывают, — говорит Никита и не может оторвать взгляда от легкой и стремительной фигуры девушки, от ее загорелой шеи и нежного пушка на щеках.

Оксанка чувствует его взгляд, и движения ее становятся скованнее. До румянца обтерев холщевым полотенцем лицо, она глядит на Никиту,

и в глазах ее весеннее смятение, которое ей никак не удастся скрыть.

И хотя она рассказывает совсем о другом — о том, как она ремонтировала трактор, брошенный немцами в лесу, как боялась ночи и как промокла под дождем, было видно, что она хочет только одного: чтобы не уходил Никита из-под ее родного крова, чтобы вместе с нею пил чай вот за этим самоваром и таким же смятенным и счастливым взглядом встречал ее по утрам.

— Сегодня я тебя погулять поведу, — говорит Оксанка. — Пойдешь гулять?

— Пойду, — говорит Никита.

И, точно сговорившись поскорее уйти от материнского взгляда бабки, они торопливо пьют чай, и она надевает на него шинель, нахлобучивает шапку и выводит его на улицу.

Она бережно усаживает его на завалинку, и Никита чувствует стесненное дыхание ее и биение собственного сердца.

— Знаешь, я очень люблю подснежники, — почему-то говорит он. — А ты любишь подснежники?

Оксанка кивает головой и зажмуренными глазами, смотрит на солнце. Она прижимается плечом к Никите и так сидит, задумчивая и счастливая.

— Я страсть как люблю подснежники, — говорит Никита. — И фиалки люблю, и ландыши, и разные другие цветы, вроде черемухи или сирени...

Никита опускает веки, кладет забинтованную руку на худенькие плечи девушки и бережно прижимает ее к себе.

— Я сегодня всю ночь о чем-то думал. Так и не заснул до утра.

Легкая улыбка дрожит на губах Оксанки.

— О чем же ты думал?

— Да так, пустяки разные, — говорит Никита со странной серьезностью. — Например, о журавлях, а потом о кукушке и о подснежниках. Я очень люблю подснежники. В детстве мне девочка из соседнего дома приносила. Забавная была девочка. Хмурая всегда. Косички, как два хвостика от редиски, и большие синие глаза. «Я тебе это принесла», говорила она мне, и было ей, наверно, приятно, что она может принести кому-то цветы.

— А где она сейчас?

— От чахотки умерла, — тихо сказал Никита. — Стала учительницей, поработала год, а потом от чахотки умерла.

— Не надо об этом думать, — сказала девушка. — Видишь, как сегодня хорошо? Послушай только...

Никита закрыл глаза, подставив лицо солнцу, и стал слушать торопливую работу ручьев, и песню жаворонка, и заботливую суетню скворцов, и далекий-далекий крик журавлиной стаи.

— Вот и они летят, — сказал Никита.

Оксанка выбежала на середину улицы и стала всматриваться в небо. Далекий и грустно-торжественный крик летел над землей, и на Никиту повеяло дальними странами, пустынями и морями, и было странно слышать веселую песню скворца. Ведь в тех местах, где они пережидали зиму, тоже шла война. Но не было в их песнях горя, а было солнце, картавое наречье ручьев, и свист пахаря, и крик кукушки. И только жу-

равли несли какую-то печаль в своем серебряном крике.

— Они в болото спустились, — сказала Оксанка, и лицо ее стало грустным. — Ты не озяб? — спросила она. — Смотри не озябни, а то никогда на родину не вернешься. Тебе очень хочется домой? Правда?

— Не знаю. Иногда очень хочется...

— А сейчас?

— Не знаю, — сказал Никита.

Солнце уже во-всю припекало землю, и черемуха распустила свои почки, и за рекой закуковала кукушка. В воздухе стоял пряный запах цветения ольхи и дыхания земли. На конце села заскрипела телега, за ней другая, а позади трактор.

Лицо Оксанки стало вновь смеющимся и задорным.

— Завтра пахать начнем. Раз телеги едут, то, значит, и плуги, и бороны, и зерно цело. Сами в лесу прятали.

— Возьми меня с собой, — сказал Никита, и в голосе его была такая тоска по работе, что Оксанка сжалилась:

— Ну, ладно. Пойдем тогда к правлению.

У правления колхоза женщины сгружали зерно, плуги и бороны, и голоса их были полны заботы и тревоги.

— Эх, председателя бы толкового нам! — говорила высокая худая женщина с ребенком на руках. Ребенок сосал ее тощую грудь, и на щечках его играл румянец.

— Что же, командуй, Оксанка! — сказали женщины и посмотрели на Никиту туманными глазами. Во всем селе был только один мужчи-

на, и они заискивали перед Никитой, улыбались ему.

— Вот вам председатель. Чем плох? — засмеялась Оксанка, и Никите стало хорошо от этих слов, точно то, о чем он думал в эти дни, стало простым и понятным.

— Вот бы хорошо-то! — вздохнули женщины. — Оставайтесь у нас, Никита Захарыч.

— Ну что ж, — сказал Никита, — завтра выедем пахать. А Оксанка и вот вы, — Никита указал на женщину с ребенком у груди, — запишите, что у нас есть и где что посеяно. Тоня пусть съездит за горючим в город, а я подумаю потом обо всем и на собрании расскажу, как все это лучше начать...

— Спасибо вам, Никита Захарыч, — облегченно вздохнули женщины, и глаза их повеселели.

Уставший от солнца, пришел Никита домой. Оксанка помогла ему снять шинель и лечь в кровать. Он уснул мгновенно. Бабка не решилась будить его на обед, и он проснулся только ночью, разбуженный все тем же неотвязным сном, что уже третьи сутки мешал ему спать.

Убитый им немец ворочался на своей ледяной постели, и созвездие Пса отражалось в его мертвых зрачках. Потом он оперся локтями и привстал. Фиолетовая тень пала на лед от его фигуры, и лицо солдата было лимонного цвета, а над правой бровью запеклась кровь от пули Никиты.

Солдат смотрел на запад, на лес, и, точно не видя Никиты, говорил ему:

— Прощай, рус! Мне холодно здесь. Я озяб. Я пойду в свой Гамбург.

— Иди, — сказал Никита, и в его сердце не было ни ненависти, ни сожаления, а одна тишина весенней земли, омытой дождем.

— Только больше сюда не приходи, а то я убью тебя второй раз,— добавил Никита, и солдат ушел на Запад, в свой Гамбург, ни разу не оглянувшись.

Когда же Никита полуоткрыл глаза и увидел на стуле стакан с ключевой водой и пучок подснежников, он не поверил своему счастью.

«Я так люблю подснежники!» хотел сказать он, но не сказал и сквозь полуоткрытые веки видел, как низко склонилась над ним Оксанка, как тугое дыхание щекочет ему щеки, как длинные, загнутые ресницы девушки касаются его глаз.

— Милый... — шепчут губы девушки.— Миленький мой, желанненький!..

И кажется Никите, что чистый, как ключевая вода, запах подснежника заполняет его душу и кружит голову.

И Никита обнимает левой рукой шею девушки и целует в губы.

Лунная ночь стоит за окном, и двоим кажется тесной широкая горница; положив его правую руку на свое плечо, Оксанка выводит Никиту на улицу. Она бережно ведет его по тропинке, к реке, бушующей от половодья.

— Остайся, милый. Я так хочу, чтобы ты остался!

И хотя она знает теперь, что он и так никуда не уйдет от нее, она уговаривает его страстно и ласково:

— Желанненький мой!..

А Никита молчит и слушает, как рушится лед в излучине Вертушки. Лед ломает мелкий оль-

шанник и кружится у поворота, а затем, тяжело вздохнув, бьется о каменистый берег. Никита бежит к самой воде и видит льдину и мертвого с лицом, обращенным к небу. Льдина, хрустнув, встает на дыбы, наползает на соседнюю льдину и, мгновение помедлив, отправляется в дальний путь.

— Посмотри, он поплыл домой, — облегченно говорит Никита.

Но девушка видит только хорошие глаза Никиты, его похудевшее лицо, его губы, впервые поцеловавшие ее. И она обнимает его крепко и улыбается от молчаливого счастья.

СЫН ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Вечерами дед подолгу смотрит на горизонт, заслоняя ладонью от солнца, и говорит медленно и тихо:

— Чево-то закат квёлый, Левонтий. С проседью. Сеногноем бы не потянуло.

Дед больше всего на свете боялся сеногноя, заботился о сенокосе, жил страдою и даже сны такие видел: косит будто сено, а стога волки поедают.

— И приснится же такая нечисть! — бормотал дед, просыпаясь.

Сегодня старик был задумчивее прежнего. Закат совсем опечалил его, и пока Левушка ловил хариузов в Иструти, а потом варил уху на таганке, дед успел выстроить шалаш, накрыть его свежей травой, а чтобы спать было удобнее, полшалаша покрыл мягкими веточками пихты.

Уставший, озабоченный, он подошел к костру и еще раз посмотрел на закат. Тонкое лезвие зари рассекло синюю тучу на горизонте, и дед вновь вздохнул:

— Ишь ты, какая пакость-то ползет!..

Левушке стало жаль деда. Над долиной уже опустилась роса, и пахло золотистым лютиком, свербигой, кварцевыми россыпями, и ничто, как и прежде, не предвещало плохой погоды. Только, может быть, воздух был чуть удушлив да стояла удивительная тишина.

— Может, ее еще раздует ветром, — сказал Левушка.

Дед промолчал и ушел в свой шалаш. Когда он вновь подошел к костру, в его руках был недоплетенный лапоть. Дед еще в прошлое воскресенье начал его, но сердце его блелело за погоду, и он никак не успевал доплести. Засыпал у костра.

Сняв котелок с таганка, Левушка поставил его на траву, мокрую от росы, и пошел к кленам. Овчарки сонными глазами проводили его к опушке леса, потом вскочили и побежали за ним, обошли отару, косясь на клены и березы, до колен залитые вечерним поздним сумраком.

Закончив обход, овчарки легли у костра, томительно зевнули и закрыли глаза.

— Поедим, деда, — сказал Левушка. — Мне что-то есть хочется.

— Ешь на здоровье, — сказал дед, и в голосе его была доброта и дрема. — Отъедайся после Питера. Слава богу, питания здесь хорошая. Без немцу.

— Я вель из Новгорода, — задумчиво сказал Левушка. — Это совсем другой город.

— А ты лучше не думай об этом, — сказал дед. — Погоревал — и хватит. Может, осенью наши отобьют его. Должны бы.

Дыхание слабого ветерка ощущает лицом Левушка. Ветерок пахнет горами, лабазником, дикой акацией.

— У вас здесь хорошо, деда, — тихо говорит Левушка. — Мне здесь очень нравится.

— А какое здесь сено-то! Какое сено! — говорит дед. — В жизнь ни на что такое сено не променяю. Шутёмное. Если бы заграница знала о таком сене, от нее бы отбою не было.

Левушка задумчивым, мечтательным взглядом обводит горы, прислушивается к далекому щебету родничка, смотрит на звезды и долго не может оторваться взглядом от них.

— Такие же, как у нас в Новгороде.

— Ты ешь-ко, айда, — с грубоватой нежностью говорит дед. — Остынет шарба-то.

Уху дед по-уральски называет «шарбой», а вместо «скорее» говорит «айда».

Левушка, не торопясь, ужинает. Он ест душистую уху, приправленную по совету бабушки какими-то кореньями, и пьет густое прохладное молоко.

— Я никуда теперь отсюда не уеду, — говорит Левушка, — мне здесь очень нравится.

Деду приятна эта похвала, но он всегда любит возражать.

— Конечно, если у костра сидеть сложа руки, оно, может быть, и ничего, а вот если страдовать, к примеру, то мало радости. Весь потом изойдешь. От зари до зари. Или зимой за дровами в мороз ехать. Крестьянская жизнь нелегкая, Левонтий. Ох, нелегкая!..

Левушка с уважением слушает деда, и тому становится стыдно за то, что он как бы хочет сказать, что городскому мальчику никогда не устоять перед деревенским. И дед торопливо добавляет:

— Ну, хоть наша работа трудная, зато радостная. Все-то у нас есть. И пчелы у колхоза есть, и овец четыре сотни с половиной, и Мэтэфа большая. Ни в чем отказа нет.

— А ты любишь, дедушка, горы? Я очень люблю горы, — говорит Левушка, — только мне боязно змей и волков.

— А чего их бояться? — говорит дед. — Они тебя должны бояться, а не ты их.

Левушка не ответил. Он слушал пение родничка, и шорох серебряной листвы осинника, и дыхание овечьей отары. Отблески пламени падали на тяжелые рога барана, и золотые точки дрожали в его тупых и выпуклых глазах. Левушка вспомнил свой город, своего умершего деда, и губы его дрожат, и слезы спазмами сжимают горло.

— А ты не думай об этом, Левонтий. — говорит дед. — К слову сказать, жизнь прожить — не поле перейти. Вот даже овца — она и то, наверно, волнение имеет. Очень уж у нее сердце слабое. Поймаешь ягвшку, а сердечко у нее так бьется, вроде кто-то быстро молоточком по наковальне бьет. Тут-тук-тук.

Дед кладет на колени доплетенный лапоть и долго смотреть на огонь.

— А животная страсть полезная. И тебе шкура, и тебе шерсть, и тебе мясо. Ба-альшой талан надо иметь, чтобы ягвшку в овцу вырастить. Вот я десять лет в чабанах хожу, а тебе признаюсь — нехватает мне талану. И уже что я ни читал!

Книг десять прочел про овец. Толстые книги, по сто страниц даже попадались, а все никак не могу понять: в чем корень ихнего существа. Почему одна овца с норовом, а другая нет. Почему одна быстро нагуливается, а другая на квёлость переходит. Вот и рассуди тут, как хочешь. Кому что на роду написано. Профессия, стало быть.

— А инженером тоже хорошо быть. — сказал Левушка. — Мой папа все время путейским инженером работал.

— Если бы мне грамоту, — вздохнул дед, — я бы все науки превзошел. Я бы, может, даже через микроскоп разную бактерию высматривал. Которая зловредная, ту к ногтю, а которая с пользой, ту на развод. Есть же такая работа?

— Это в лаборатории, — сказал Левушка, — у разных ученых.

— То-то и оно, — удовлетворенно сказал дед и приступил к ужину.

Дед любил печальную песню «Лучинушка».

Перед сном у костра он мурлыкал ее, и Левушке полюбились грустные слова этой старой песенки:

Горит, горит лучинушка,
Горит, трещит сосновая.
Сидит в избе хозяйюшка,
Как ноенька, суровая.

— Вот что значит сиротская доля, — говорил он, допев песню. — Плохо без отца, без матери. Вроде как скворцу без скворечни.

Дед вырос сиротой, и когда Левушка с матерью приехали с запада, перейдя линию фронта, мальчик с рябым лицом и мужицкими серьезными глазами удивительно полюбил деду. Так стоя Левушка чабаненком а мать стала работать учительницей в школе. Левушка так привык к

лесу, к ягнтям, что не уходил домой даже в воскресенье, чтобы повидаться с матерью, и она сама навещала его. Она приносила свежих пирогов, меду, а деду нюхательного табаку.

— Ну, как сын Великого Новгорода работает? — спрашивала она, ласково ероша жесткие волосы Левушки.

Дед долго нюхал табак, посматривал лукаво на Левушку, а потом с важностью в голосе отвечал:

— Работает согласно устава. Все в исправности, кнут ремонту не требует, ягнята не теряются, на работу имеет злость и прилежание, вроде как бы испокон веков чабаном был.

— Ишь ты как, Левушка! — говорила мать. — Может, и меня в помощники возьмете?

Дед улыбался в бороду и качал головой:

— Смысла нет.

— То есть как? — удивлялась учительница, и ее серые глаза искрились смехом.

— Кто же пироги тогда нам таскать будет? И табачок...

Вечером они втроем подгоняли отару к шоссе и, подняв руку, останавливали какую-нибудь грузовую машину. Дед сам усаживал Левушкину мать в кабину и говорил шоферу:

— Айда! Трогай! Только не растрясси нашу учительницу, сукин сын. Знаю я вас, зимогоров!

...Тесно прижавшись друг к другу, лежали овцы. Овчарки изредка обегали отару и вновь возвращались к костру, успокоенные тишиной; только загровки их изредка ерошились жесткой шерстью. Собакам мнились в ночи волчьей стаи, хоть в это время года волки редко беспокоят стада: им хватает дичи и без ягнят.

— Пойду посилю немного, Левонтий, — сонным голосом сказал чабан.— Или ты отдохнешь?

— А я и не устал, — сказал Левушка, — это же ведь не работа.

— Скоро ты другое скажешь, — улыбнулся одними губами дед. — Вот начнет гроза, тогда ты узнаешь. Намаешься. Смотри только к болоту не пропускаяй. Если что — разбуди.

— Хорошо, — сказал Левушка, — я разбужу.

Дед ушел спать, а Левушка вновь подбросил в костер смолевых сучков и, опустившись на спину, стал смотреть в небо. В узкие прозоры меж туч светили звезды, крупные и яркие. Все удушливее и недвижимее становился воздух, и от этой предгрозовой тишины замолкли даже ночные птицы и перестала плакать выпь в болоте.

Собаки открыли рты, и тонкие языки их подрагивали, точно от сильного бега.

Еще теснее прижались друг к другу овцы, и ягнята спрятали свои белые мордочки у матерей под боком.

Утомленный ночной духотой, Левушка невольно закрыл глаза и задремал. Далекий и глухой раскат грома прогудел где-то за горизонтом. Потом еще удар, и когда Левушка открыл глаза, острая молния рассекла надвое небо над его головой.

Гром оглушил его, и на вершине одной из сопok ярко вспыхнула сраженная молнией старая лиственница...

Овчарки с воем отпрянули от костра и ринулись во тьму. Точно от удара из-под земли, вскочила овечья отара. И, расколовшись на косяки, заметалась по поляне.

— Дедушка! Деда! — закричал Левушка,

хватая кнут и кидаясь наперерез сотне овец, покотившейся к болоту.

Дед вышел из шалаша встрепанный и сердитый, и от его крика еще усиленнее залаяли овчарки, тщетно пытаясь вновь сбить отару. Они хватали за ляжки овец, налетали на них ураганом, сваливая грудью и отгоняя от леса, но обезумевшие животные с жалобным блеянием убегали в лес, опережая и овчарок, и деда, и Левушку.

Передовой баран с косяком овец рванулся прямо на Левушку, сбил его своими рогами и, перемахнув через пенек, скрылся во тьме. Левушка не успел подняться. Около десятка овец прокатились по нему, и только счастливый случай помог ему встать. Вновь расколосось небо от алой молнии, и овцы на мгновение в страхе припали к земле. Левушка вскочил и со злости ожег кнутом барана. Тот покорно повернул обратно, но ягнята, бежавшие за ним следом, уже проскочили узкой тропкой в болото. Не менее двадцати ягнят.

Левушка заплакал от обиды. Он отогнал овчий косяк обратно в долину, передал его овчаркам и побежал к болоту.

Молния в третий раз осветила стежку, и далеко впереди Левушка увидел белых ягнят, в страхе несущихся к топи.

— Дедушка! Деда! — закричал Левушка, но гром заглушал его слова, а слезы мешали отчетливо видеть дорожку.

Рубашка на Левушке была изодрана в клочья. Бока, лицо и руки были в крови, но Левушка не замечал ничего этого. Он не чувствовал боли и, чуть пригнув голову и выставив вперед руки,

пробирался сквозь кусты, ощущая ногами зыбкую тряси́ну.

Он упал от изнеможения, когда в лиловом свете молнии увидел на островке восемь ягнят и трех овец.

Ударил ливень, крутой и тяжелый, какой бывает только в Уральских горах, и Левушка упал в вязкую тряси́ну недалеко от островка...

Сквозь глухую тьму он слышал лай собак, ласковый, зовущий крик деда, блеяние испуганных овец... Но потом все потухло, и он потерял сознание.

Очнулся он от ощущения тяжести в ногах. Тряси́на засасывала его. Островок с ягнятами становился всё меньше и меньше.

И Левушка, стиснув зубы от ярости, сделал последний рывок и освободился от тряси́ны. Голова его кружилась, но он все-таки доплыл до островка, и ягнята ласково уткнулись мордочками в его лицо, точно благодарили за мужество и за то, что он их спас от смерти.

Зеленые круги лихорадки медленно опускались с неба и давили грудь Левушки, распластанные руки его, но даже сквозь забытие мальчик помнил о том, что вода прибывает и что островок уменьшается с каждой минутой. Вода, шелестя и захлебываясь, бурлит вокруг острова, скрывая узенькую тропку к долине с отарой.

И Левушка, будучи не в силах открыть веки, переворачивается на живот и становится на колени. Лесок за болотом качается в его глазах. Уже светает. Ягнята трутся мордочками о его колени.

Левушка берет двух ягнят подмышки и, шатаясь, идет по тропе, утопая в воде по пояс. Потом он возвращается обратно и повторяет свой

рейс. Когда он переносит последнего ягненка, из-за гор уже выходит солнце, и овцы сами переплывают к лесу, покидая затопленный островок. По запаху следов овцы уводят ягнят к отаре, и Левушка устало улыбается тому, как мелькают их черные каракулевые хвостики меж листвы.

Левушка подходит к огромному плоскому камню, ложится на него спиной и опускает веки. Доброе горное солнце убаюкивает его, как песенка матери, и все страдания прошедшей ночи входят постепенно из его тела. Хочется только спать. спать, спать...

Просыпается он уже к обеду от счастливого голоса деда.

— Левонтюшка, — говорит дед, и губы его дрожат от долгой тревоги и радости, — а я все леса обегал. Искал тебя, искал... Думал, ты утоп. А ягушечки ведь ни одной не пропало.

— Я знаю, — улыбается Левушка. — С чего бы им пропадать! У нас, как по уставу. Сколько было, столько и будет.

И, опираясь о руку деда, он идет к долине и с жадностью пьет прямо из бутылки студеное молоко, закусывает хлебом, а потом смотрит на горы и улыбается мечтательно:

— Как хорошо-то здесь, делвушка! Горы. Реки. Овцы. Я хоть всю жизнь чабаном могу быть!

— У тебя есть талант, — говорит дед, — а вот рубанки-то нет... — И улыбается, ласково поглядывая на Левушкину рубашку, не выдержавшую испытания этой боевой ночи.

ПОЛЫНЬ

За пологими курганами, за редким березняком начинались солончаки.

Марина шла позади стада. Она посмотрела на звездное небо, прислушалась к ветру, пахнущему полынью, к скрипу колес и крикнула:

— Правее, девушки! Правее!

Доярки повернули стадо вправо, к балке, к молодому березняку, и вновь истошно, с надрывом запричитали старухи на скрипящих телегах. Они оплакивали родимые места. Они сидели лицом к западу, и косматые вихри пламени горящих сел отражались в их глазах.

— Будь ты, Гитлер, проклят навеки! — задыхаясь от горя, шептали они. — Будь проклята мать, которая тебя родила! Пусть тебя так же гонят по свету, как ты нас гонишь!

И Марина переходила от телеги к телеге и утешала женщин.

Женщины умолкали; застывшим, невидящим взглядом они прощались с западом.

Марина понимала их горе. Каждый двор, каждая хата цеплялись за них. Не отпускали. Жалобно скрипели ставни и плакали окна, прощаясь с руками, заботливо мывшими их. Присядешь на завалинку — не отпускает завалинка. Точно живая. Наливает тяжелой тоской руки и ноги — и не встанешь. Не отпускает горница, держит хлебушек для скота. Точно упрекает: «Уходишь...»

А за селом уже быют зенитки, и летают в черном небе самолеты, задыхающиеся от ярости своих моторов. Не наши самолеты. Немецкие.

— Нет, кары не придумаешь! Земли такой

поганой не найдешь, чтоб приняла тебя, изверга!

И необычные, глубокие складки скорби появляются в уголках женских губ.

Чем утетишь этих женщин? Старики не нуждаются в утешении. Молчаливые и злые, они возле телег курят цыгарки. Одну за другой. И думают. Их дума тяжела и медлительна. Но когда они решают, ничто не сможет помешать им в том, что они задумали.

— Хватит, бабы, — говорят они хмуро. — Чего уж тут!

Их горе немногословно и скупо.

И только с Мариной они беседуют о том, как томится мужицкая душа.

— Полынь, — говорят они. — Молоко бы у коров не испортилось.

И Марина понимает, что не в молоке дело.

— Все полынью да малинником порастет, — добавляют они. — Что ж ты молчишь, председатель?

— Нет, — говорит Марина, — нет! Полынь не успеет вырасти: мы вернемся.

Скрипят телеги на степных шляхах. От горящих сел, от осиротевших станиц ползут на восток длинные обозы.

«Нет, это не беженцы, — думает Марина. — Это отступление, и, кроме голой земли, ничего не получит враг».

И коровы, триста холмогорских коров, которых гонит на восток Марина, будут попрежнему давать густое, как сливки, молоко. На высоких мажарах позади стада везут доярки и сепараторы, и маслобойки, и бидоны для молока.

И, оставив мужиков додумывать свои думы,

Марина садится на орловца и догоняет стадо. Телята отбились и поползли по солончакам.

— Что же это вы, девушки? — сердится Марина на доярок.

— Они дюже прыткие, — оправдываются девчата. — И, леший знает, что это они так лезут в степу?!

Марина подгоняет телят. Стадо ползет по балке, туман покрывает его до голов. Звонко кричат мальчишки-пастухи. Они поют озорные песни, и девчата ругают их за это. Девчата недавно простились со своими парнями и все время думают о них. Печалются.

У Марины тоже остался там, в тылу у немцев, ее Алеша.

Марина грустно улыбается. Когда окончится война и она вернется в свою Михайловку, Алеша посадит у дома яблони и вишни. И когда у них родится дочь, они обязательно ее назовут Наташей.

Только бы вернулся Алеша живым, и тогда все пойдет хорошо.

Девушка поворачивает коня и возвращается к обозу. Женщины уже не плачут. Они устали от горя и, прислонясь друг к другу и прижимая к груди ребят, дремлют и качаются, и губы их тесно сжаты.

На последней телеге едет старый Анисим. У него омертвели ноги. Как началась война, их разбило параличом. Старуха заботливо ухаживает за ним. Она подложила под него соломы и шубу. И к спине его тоже подложила соломы. Старик сидит, как в кресле, запахнувшись в тулуп, и видит скрывающееся за горизонтом село.

Марина с тревогой всматривается в лицо

Анисима. Анисим плачет, не утирая слез. Он безмолвно тоскует.

— Что с тобой, дед? — тихо говорит Марина.

— Так, — говорит Анисим.

— Не надо, — говорит Марина. — Им ничего не осталось. Хлеб, скот и машины мы вывезли. А если избы сгорят, мы новые построим.

— Я так, — шепчет Анисим. — Проклятые ноги...

И тихо, совсем тихо просит:

— Довези меня, Маринка, обратно. Невмоготу мне так. Я на руках доползу до своей хаты. Семь лет я дожидался осени. Все мечтал...

— Совсем одурел старик, — запричитала женщина. — Как выехали, так и затосковал.

— Да о чем же ты мечтал? — пожала плечами Марина.

— Пшеница... Хлебушко... Моя пшеница!.. — страстно зашептал старик. — Отвези меня, Мариночка, обратно. Жизни нет моей теперь. Все опостылело. Весь свет стал немил. Я семь лет дышал над нею, как над малым дитём. Землей испытывал, холодом испытывал, жарой испытывал. Я вовек не забуду твоей милости, Мариночка. Мне бы хоть пять колосков собрать. Мне бы только до клуни доползти и сохранить хотя бы десять зернышков.

Марина соскочила с седла.

— Остановись, бабусь, — сказала она старухе и сама потянула вожжи. — Что же ты раньше-то мне не сказал, дед Анисим? Что же ты раньше молчал? — осердилась она. — Да ведь они истопчут ее, гады!

— Это я его попутала, — в страхе призналась старуха. — Надо уезжать, а он ползет к бане.

Я и сказала ему, что, мол, пшеницу твою убрали. А потом призналась ему в стели, что обманула, — он и затосковал. Хоть бы побил меня, что ли, только бы успокоился.

И старуха заплакала.

— Эх, ты, бабуся! — сказала Марина и, остановив обоз, сообщила мужчинам, что она не надолго возвращается в село и скоро вернется.

И, вскочив на рысака, Маринка свистнула нагайкой над его крупом.

Через минуту орловец скрылся во тьме.

— Дай ей бог счастья, — перекрестилась старуха.

* * *

В опустевшее село входили немцы.

Марина спрятала коня в ольшаннике у речки и ползком добралась до хаты деда Анисима. Дверь хаты была раскрыта настежь, и на пороге сидел белолобый котенок. Он жалобно мяукал и звал мать. Матери не было, и котенок умывал мордочку правой лапой и косился на ночные звезды.

Там летели самолеты. Они летели низко и застилали своими крыльями звезды.

Над деревней они сбросили осветительную ракету, и, когда она стала медленно снижаться, Марина увидела в огороде, у бани, высокую грядку пшеницы деда Анисима. Дед, заведующий хатой-лабораторией, прославил этой пшеницей колхоз на всю республику. Он семь лет выращивал ее, и о нем писали все газеты, и седые академики приезжали к деду Анисиму, и называли его пшеницу «мужицким чудом», и говорили,

что дед Анисим — это Мичурин в хлеборобстве и что человечество будет благодарно ему за его пшеницу.

И девушка с трепетом притронулась к тяжелым колосьям полегшей пшеницы. Она сорвала несколько колосьев и растерялась. Она позабыла взять мешок. «Ничего. В карманы наберу», подумала она и лихорадочно стала набивать карманы пальто тугими колосьями.

Почувяв запах человека, котенок покинул порог избы. Он подбежал к девушке и стал тереться мордой об ее руки.

— Уйли ты! — невольно улыбнулась Марина и озабоченно поглядела на запад.

Оттуда ветер доносил тяжелую поступь танков и стрекот пулеметов. По улице бежали солдаты. Вот один из них бросился к хате деда Анисима. Девушка упала в борозду между грядами и отползла к бане. Солдат через минуту вышел из хаты и побежал дальше.

Девушка продолжала работу. Она очистила от колосьев уже полгряды, когда по селу стали бить пушки отступающих наших частей.

Немецкие мотоциклисты повернули к околице и дали дорогу своим танкам.

Карманы были туго набиты.

Девушка отвязала от двери у бани тонкую бечевку и опоясалась. Она не хотела оставить на грядке ни одного колоска. Она перевязала платье бечевкой и стала складывать колосья за пазуху. Они были чуть холодноватые и колючие. Но, стиснув зубы и прерывисто дыша, девушка ползла по гряде, отрывала от жестких и упругих стеблей колосок за колоском.

— Ничего вам не оставим, ничего... — шеп-

тала она, вкладывая в эти слова всю свою ненависть и все свои надежды.

Оставалось снять еще с четверть гряды, когда заработали бомбардировщики и село вспыхнуло с обоих концов.

Пламя с шелестом и свистом рванулось к ометам соломы, к избам и амбарам. Пламя прыгнуло на хату деда Анисима, и, точно облитая бензином, запылала крыша сарая.

Горячий воздух пахнул в лицо девушки, и котенок в страхе прижался к ее ногам.

«Что же, придется уходить, — подумала Марина и прощальным взглядом окинула клочок невбранной пшеницы. — Пусть и она горит», решила девушка и, выхватив из сарая пук горячей соломы, положила его на грядку.

Пламя побежало по грядке и донесло до Марины горький запах горелого хлеба.

— Вот и все, — сказала Марина и, схватив котенка, проскочила сквозь горящие ворота, к речке, к ольпаннику...

Рысака она уже не нашла. Он испугался взрывов и, оборвав повод, вскакал в степь.

Но девушка не огорчилась этим. Радостная и возбужденная, она пробиралась меж зарослей ольпанника и маличника к степи и улыбалась, вспоминая солончаки и полынь — горькую траву.

«Ничего, дед Анисим! Получишь ты золотую медаль, а полынь не успеет вырасти. Не успеет!» И улыбалась в темноте, наполненная каким-то особым, не изведанным ею счастьем.

Цена 1 руб.